

ВЕТЕР ИЗГНАНИЯ

Борис Хазанов

Ш S Ф Ж Z Я
E S F G H Q
D R

Т Ы А Ё R
S Б L U X
Э Y N Ц ъ
D K C Ю G J
R Ш Ч G M
U M

Борис Хазанов

ВЕТЕР
ИЗГНАНИЯ

ВЕТЕР
ИЗГНАНИЯ

Борис ХАЗАНОВ

**ВЕТЕР
ИЗГНАНИЯ**

**Новосибирск
Сибирский хронограф
Москва
Возвращение
2003**

ББК 84-4

X 15

ISBN 5—87550—164—2

© Б. Хазанов, 2003

© «Сибирский хронограф», 2003

© «Возвращение», 2003

Борис Хазанов

ВЕТЕР ИЗГНАНИЯ

Редактор *А. В. Бибина*

Корректор *А. В. Бибина*

Технический редактор *Н. Р. Тевс*

Подписано в печать 22.02.2002. Формат 75×90^{1/32}.

Усл. п. л. 8,9. Уч.-изд. л. 8. Гарнитура Лазурский.

Заказ № 2.

Оглавление

| | |
|---|-----|
| Об авторе | 7 |
| Жабры и лёгкие языка | 18 |
| Старики | 27 |
| Левиафан, или Величие советской литературы | 47 |
| Подвиг Искарюта | 67 |
| Алгебра и философия детектива | 74 |
| Кризис эротика | 85 |
| Возвращение Агасфера | 92 |
| Город и сны | 99 |
| Буквы | 108 |
| Чёрное солнце философии | 114 |
| Вейнингер и его двойник | 129 |
| Десять праведников в Содоме | 159 |
| Ветер изгнания | 210 |

Об авторе

Настоящее имя автора этой книги — Геннадий Файбусович; Борис Хазанов — его литературный псевдоним. Большую часть жизни он прожил в СССР. В одном из своих писем, любезно предоставленных Ю. А. Шрейдером, он сделал удивительное признание: «Я родился в Ленинграде, на углу Невского и Мойки, в местах, священных для каждого русского. И какая-нибудь строчка „Друзья мои, прекрасен наш союз“ и какие-нибудь полтора такта, шесть нот — тема весны из музыки Чайковского в „Снегурочке“ — звучат для меня как вечная песнь юности. Я выражаюсь выпендренно, но как иначе сказать об этом! Если можно представить себе человека, до костного мозга, до паренхимы надпочечников пропитанного русской историей, всей стихией русского языка и русской мысли, то это я».

Трудно представить, что автор этих строк пережил ранний арест, следствие, тюремное заключение, ужасы сталинских лагерей, ссылку, измывательства цензуры, тайную слежку, обыски. Не менее

удивительно и другое — этот перечень испытаний выпал на долю человека, в общем-то чуждого политике и вообще какой-либо публичной деятельности. Интересы Файбусовича всегда находились в сфере духа и высших достижений человеческой мысли. Он — автор биографии Ньютона, исследований по истории медицины, переводчик философских писем Лейбница, блестящий знаток античности и средневековой теологии, критик и эссеист.

Как могло случиться, что этому мудрецу, эстету, кабинетному ученому довелось такое пережить? Понять это невозможно, если не признать изначальную враждебность существовавшего в СССР режима независимой мысли и свободе творчества.

Когда Геннадия Файбусовича арестовали в 1949 году, он был студентом последнего курса филологического факультета Московского университета. Ему, как принято у нас говорить, дали восемь лет лагерей строгого режима. «Боже милосердный, как же мы были молоды, когда это случилось с нами! — сокрушался герой-рассказчик одного из произведений писателя, вспоминая свою юность. — Предыдущее поколение было искалечено войной, мы же с молодых ногтей были ранены страхом, мы пропитались им, он стал нашей сущностью и нашим ежеминутным бытиём».

8

Послевоенные годы были отмечены многими событиями в жизни нашей страны. Из тех, о которых охотно вспоминают и сегодня, — это денежная реформа 1947 года и отмена продовольственных карточек. Реже вспоминают, что это было время возобновившегося террора. Практически не помнят, что в 1947 году голод терзал деревню, большая часть мужского населения которой, призванная в

ряды пехоты, прославленной «царицы полей», вынесла на себе весь ужас и тяготы войны, устлав эти поля собственными телами. Не дождавшиеся их жёны и матери голодной весной 1947 года сами впряглись в бороны, спасая от смерти своих детей, страну и ее жестоких властителей. Последние же в это время втягивали зарёванную, голодную и холодную страну в новую войну — уже без бомбежек и грохота пушек, но ещё более разорительную и страшную по своим последствиям. Чем это закончилось, досталось узнать уже нам — их детям, внукам и правнукам.

Не легче тогда было и городу. Впечатляющий образ того времени в одном из своих рассказов создал Геннадий Файбусович. Это было «время деяний, коллекционирования заслуг; время вывешивания флагов, когда страх расцветал цветами патриотизма. Убеждённые речи, каменная верность догме. Донос как встречная мера борьбы с предполагаемым доносчиком — превентивная война всех против всех. Уверенность, что сзади надвигается круг света, сейчас он коснётся тебя, и паучьи лапы потащат в подвал, в преисподнюю, — эта уверенность подвигала на неслыханные свершения. Это непрерывно дрящущее самоутверждение режима, жизнь — молебен, неустанное славословие, в сердцевине которого — страх...»

9

На те времена приходится и пресловутая кампания «против низкопоклонства и раболепия перед иностранщиной», быстро развернувшаяся в борьбу против «космополитизма». Именно тогда население тюрем и лагерей пополнилось молодыми людьми самого разношёрстного состава — от «низкопоклонников перед Западом» до недавних студентов, дерзнувших критиковать господствующую идеоло-

гию, выработавших собственный взгляд на историю и так называемую закономерность существующей власти и её идейных установок. В этом потоке осуждённых шагал и Файбусович.

Эти недавние студенты и были в сталинских лагерях первыми представителями инакомыслия, вскоре ставшего едва ли не единственной разновидностью преследуемой государством политической деятельности, впоследствии переросшей в диссидентство шестидесятых — семидесятых годов. Это было решающим в их судьбах. Все они, вне зависимости от объявленных им сроков, фактически обрекались на пожизненное заключение и должны были, не выходя на свободу, неминуемо погибнуть «естественной» смертью. Такой была незыблемая установка советской юстиции, исключившей ещё с поры молочных зубов возможность перевоспитания и исправления политических противников советской власти. Все они подлежали уничтожению. Но этого не случилось по совершенно банальной, как теперь может показаться, причине — смерти тирана.

Имея в «минусе» Ленинград, где родился, и Москву, где так несчастливо закончилась его студенческая юность, Файбусович после освобождения осел в глуши, пока новые времена не набрали силу. Там он окончил медицинский институт. Выбор будущей профессии был сделан под влиянием неумолимого закона концлагеря, гласившего, что «тот, кто однажды хлебал тюремную баланду, будет жрать ее снова». Врач в зоне был не только избавлен от «общих» работ, но и имел неоценимое преимущество — оставаться наедине с собой.

Жизнь Геннадия Файбусовича после института вряд ли чем-то существенным отличалась от жизни

его коллег: то же распределение в медвежий угол, работа в маленькой сельской больнице, где постоянная нехватка всего, даже самого необходимого.

Скорее всего, именно тогда и созрели первые его литературные замыслы, началась работа по их воплощению в жизнь.

Первые его произведения так или иначе были связаны с лагерной тематикой. Однако она не была для автора самоцелью, а служила решению вполне определённой задачи: понять, что произошло со страной в результате обрушившихся на неё испытаний. Ему раньше других открылось, что «фантастическая жуть лагеря» представляла собой «лишь иное обличье обыденной жизни громадного большинства людей. Насколько проще и легче было поверить в Голгофу, в романтику вышек и прожекторов, словом, поверить в *произвол*, чем допустить удручающую *непроизвольность* этого ада, в конечном счёте созданного его же обитателями. Поистине не властью стрелка на вышке, а властью тупого и злобного соседа вершилось то, что составляло высшую и конечную цель лагеря».

Это было его открытием, тем углом зрения, под которым только и можно было что-то понять в советской действительности. Уже тогда, в начале шестидесятых, Геннадий Файбусович осознал, что пройдёт немало времени, «прежде чем мы поймём, что виной всему были мы сами, мы сами, мы сами».

Пик литературной активности Геннадия Файбусовича приходится на конец шестидесятых — семьдесятые годы. Он перебирается в Москву и здесь — после аспирантуры и длительного периода работы по специальности — становится редактором в научно-популярном журнале. Теперь он полностью от-

даётся писательскому труду. Его не смущало отсутствие официального признания и вряд ли заботила проблема перемены социального статуса. Всё было решено за него, и давно. Зажигая лампу и садясь за письменный стол, он был свободен, он был один, он был до мира.

Возможно, это были лучшие его годы. Но долго так быть не могло.

Возникшее в стране независимое общественное мнение, столкнувшись с сопротивлением власти, к концу шестидесятых годов эволюционировало в правозащитное движение, охватившее собой практически все стороны свободных проявлений человеческой активности. Несмотря на свою малочисленность и изолированность от основной массы общества, движение с первых же шагов громко заявило о себе. В Москве начала выходить «Хроника защиты прав человека», которая информировала о всех случаях нарушения прав человека в стране. Власть незамедлительно отреагировала. Против движения была направлена вся мощь репрессивного аппарата страны. Началось почти десятилетнее неравное противостояние горстки интеллигентов произволу тоталитарного режима. В ходе этого противостояния в своём стремлении «тащить и не пущать» власть преусердствовала, как это было уже не раз в истории России. Разогнав в стране волну антисемитизма, она не только расширила социальную базу правозащитников, но и разбудила дремлющие в обществе атавистические инстинкты, заложив тем самым мину замедленного действия. Единственное, что тогда возбуждало чуткую советскую общественность, была так называемая «еврейская эмиграция». С людьми, решившимися покинуть страну или только выразив-

шими подобное желание, не церемонились. Использовались все способы воздействия — от доверительных бесед в руководящих кабинетах до откровенных провокаций, приводов, посадок, судебных разбирательств и лагерных сроков. Однако «процесс пошел», и остановить его уже было невозможно.

На события того времени Геннадий Файбусович отозвался эссе «Новая Россия». В нем очень точно были переданы настроения и смысл происходящего в стране в те годы.

«Я слышу вокруг себя: такой-то уехал. И такой-то уехал. Их становится с каждым днём всё больше. Пустеет вокруг: всё меньше остаётся друзей или тех, кто мог бы стать мне другом. <...> „Выпустят!“ — вот словечко, сделавшее излишними доводы и объяснения. Выпускают из клетки, из тюрьмы».

Но искалеченному страхом поколению «и в голову не приходило, что любовь к родине ничего не стоит, если известно, что родину нельзя покинуть. Оно не могло усвоить ту очевидную для нормального человека мысль, что условием любви может быть только свободный выбор возлюбленной и что принудительность патриотизма умерщвляет самую идею привязанности к отечеству».

Сам Геннадий Файбусович уезжать не собирался. «Для этого я слишком намучился в первом браке, да и слишком прирос к своей старой жене, — иронизировал он. — Короче говоря, я слишком русский человек для того, чтобы всерьёз на пятом десятке начинать новую жизнь в качестве израильтянина, парижанина или американца». Но свою позицию в обозначившемся тогда противостоянии между сионистами и русскими патриотами сформулировал чётко и однозначно. В

своей оценке будущего СССР он практически предвосхитил его развал, нарисовав впечатляющую картину деградирующего общества.

Размышляя о проблеме евреев, Файбусович подчёркивает, что вопрос не в том, могут или не могут они оставаться в Советском Союзе. «...Еврейское сиротство есть символ иного, духовного одиночества, порождённого крушением традиционной веры в „народ“ . <...> Я отстраняюсь от еврейского изоляционизма не только потому, что не верю в него, — роль евреев диаспоры представляется мне иной, да и скучно было бы „жить в себе“, — но потому, что я не считаю, что оскорблённая и поруганная человечность нашла единственное прибежище в еврейском народе. <...> Евреи идут ко дну, потому что идёт ко дну Россия. И поэтому я с ней».

Во второй половине семидесятых годов в одном из номеров журнала «Время и мы», издаваемого в Иерусалиме выходцами из СССР, была опубликована повесть «Час короля» никому не известного Бориса Хазанова. Публикация этой повести и стала, по мнению Бенедикта Сарнова, причиной последующих бед автора. Журнал «Время и мы» пользовался большой популярностью у «отказников» и имел широкое хождение по стране. Его читали даже те, кто никогда и ничего, кроме специальной литературы, не читал. Понятно, что такое положение дел не могло обойтись без участия КГБ, внимательно следившего не только за каналами распространения журнала, но и за его публикациями, немалая часть которых поступала из СССР. Выявление авторов этих публикаций и было одной из задач «литературоведов в погонах», недавних выпускников университетов, к тому времени плотными рядами пришедших служить в КГБ.

Ничего антисоветского в этой повести не было, хотя в её теме — сопротивление нацизму и *тоталитаризму* — при желании можно было усмотреть крамолу. Её вымышленный сюжет разворачивается во времена Второй мировой войны в оккупированной гитлеровцами Дании (а точнее, в стране, похожей на Данию). Гитлеровцы отдали приказ: всем евреям нашить жёлтые звёзды. Первыми его выполнили датский король и королева. Нашив эти метки, они в обычное для жителей датской столицы время вышли на прогулку в город. Через несколько часов весь Копенгаген гулял в жёлтых звёздах, а датские евреи были спасены.

Этот поступок мог стоить королю жизни, ведь он был всего лишь монархом маленькой поверженной страны. Но он (и это тоже вымысел автора) был ещё и самым известным в Европе специалистом в области урологических заболеваний, почётным профессором многих европейских университетов, в том числе и Германии. Это обстоятельство стало решающим в его судьбе. У Гитлера неожиданно случился острейший приступ урологической болезни. За королём-профессором немедленно была отправлена машина в сопровождении мотоциклистов-автоматчиков. Король был готов к тяжёлым испытаниям, но причина вызова оказалась совсем другой. Он знал, что его везут к человеку, повинному в страданиях и гибели миллионов людей. Но он был врачом.

История эта удивительная! Но после того, что произошло с Файбусовичем, она, похоже, никого и ничему научить не может. Его наивная попытка скрыть свое подлинное имя за псевдонимом не увенчалась успехом. Литературоведы в погонах рас-

крыли псевдоним, и «действительность, мёртвая жизнь, сочла нужным напомнить зазнавшемуся сочинителю о том, что она существует! Действительность предстала перед ним во всём своём примитивном реализме, какова она есть, в своей глупой прямолинейности, в неподдельном виде — в обличье абсурда. Что за новость? Будто он не знал, что если в самом деле всеблагие призвали его на пир, если это можно назвать пиром, то это пир бессмысленный?»

К Геннадию Файбусовичу явились с обыском; было начато следствие, в ходе которого был изъят личный архив писателя и рукопись только что завершённого романа. Но и этого показалось недостаточно — потребовали в кратчайший срок покинуть страну.

О чём это говорит? Только о том, что культура оказалась безделушкой. Она уже ничему не может помешать. А в чём-то даже может и подействовать: превратившись в идеологию, она перестала быть культурой.

Подводя итоги последним годам своей жизни в СССР и объясняя случившееся, уже из эмиграции Геннадий Файбусович писал: «Я жил между двумя обысками, под тенью неотменённого прошлого, моего вечно хранимого досье. С некоторых пор это досье вновь начало расти, подобно опухоли, обнаружившей злокачественные потенции. Я напоминал себе героя Кафки („Процесс“) и в самом деле находился под загадочным следствием, когда даже не знаешь толком, в чём тебя подозревают и чем грозят. <...> Сознание бессмысленности дальнейшего существования в этой стране, чувство собственной ненужности, от которого некуда было деться, — вот

что, вкупе со стараниями тайной полиции и её филиала прокуратуры, в конце концов вытолкнуло меня и мне подобных».

Сегодня Геннадий Файбусович живёт в Германии. Но его творчество возвращается к нам, становясь частью русской литературы, которую он сам назвал «вечным приютом, где есть место для всех нас».

Леонид Янович

Жабры и лёгкие языка

Между Чистыми прудами и Садовым кольцом, в переулке, хранящем запах старой Москвы, какой она была в начале нашего невероятно длинного века, стоит диковинное полувосточное сооружение, в котором гений архитектора спорит с безвкусицей взбалмошного заказчика, — до времён нашего детства дожила легенда о том, что потомок татарских мурз проиграл свой дворец в карты. Должно быть, это было уже после того, как князь убил святого старца Распутина. Вскоре начались известные события, новый владелец палат бежал вслед за старым. Дворец остался. Несколько старых клёнов простёрли свои ветки над переулком, и каждый год расточительная осень устилает жёлтыми клеёнчатыми листьями тротуар и лужайку за чугунной оградой.

Мир ребёнка не тесней, а просторнее мира взрослых; вопреки известной теории, мы живём в сужающейся вселенной. В день паломничества к местам детства, в одно ужасное утро, находишь сморщенный и замшелый город, лабиринт тесных

улочек там, где некогда жилось так привольно. Жалкий дворик за чугунным узором ограды назывался в те времена Юсуповским садом. Там бродили, шурша листьями, ковырялись в земле и прыгали на одной ножке вверх по широкой каменной лестнице, и когда возвращались парами, держась за руки, шествие возглавляла высокая белокурая дама по имени Эрна Эдуардовна, обладавшая отличным слухом. Время от времени она оглядывалась, и тот, кто всё ещё болтал с соседом по-русски, знал, что его ждут неприятности.

В большой комнате у Эрны Эдуардовны за круглым столом пили чай из больших чашек и роняли на скатерть куски бутерброда, рисовали цветными карандашами, что кому вздумается, и по очереди излагали содержание рисунка на языке, который странным образом не давался только одному мальчику, — это был сын Эрны Эдуардовны. Года через два настало время идти в школу, и гулянья в саду прекратились; немецкий язык быстро испарился, осталась память о лёгком дыхании незвонкой гортанной речи. Этот язык не был казнью, в отличие от игры на скрипке, мучеником которой я был пять лет. Но и со скрипкой было покончено, когда призрак туберкулёза посеял панику в сердцах моих родителей, побудив их сослать меня в лесную школу. Между тем на западе клубились тучи, и близость большой войны не была тайной; всё же война разразилась в день, когда её никто не ждал. На улицах гремела музыка. В первые недели, может быть, в первые дни Эрна Эдуардовна исчезла и пропал без вести Эрик, самый стойкий патриот русского языка среди всех детей группы, ибо он так и не научился немецкому. То, что он был сыном не только тевтонской матери,

но и еврейского отца, к тому времени умершего всё от того же туберкулёза, не спасло Эрика от пожизненного изгнания; много позже из тёмных слухов узнали, что оба были вывезены в Казахстан.

Дела шли всё хуже, мой отец, записавшийся добровольцем в народное ополчение, отправился на фронт, где это скороспелое войско вместе с регулярной армией утонуло в огромный котёл между Вязмой и Смоленском. Немало времени протекло, прежде чем мы получили известие от отца; он был одним из немногих, кому удалось выйти из окружения. Никто не знал о том, что красноармейцы миллионами сдаются в плен, и можно было только догадываться, что немцы уже совсем близко.

Мне было четырнадцать лет, и мы жили за тысячу километров от нашего дома, переулком и Юсуповского дворца, когда под влиянием внезапной идеи, не имевшей ничего общего с войной, — при том, что фронт придвинулся к Сталинграду — я надумал учить заново этот язык, написал письмо в Москву на заочные курсы и получил первое задание. Я ходил в сельскую школу, где тоже учили немецкий, не хуже и не лучше, чем во всех школах, и довольно быстро обогнал своих одноклассников. Учитель, литовский еврей, в молодости бывавший в Европе, приглашал меня к себе домой и говорил со мной на священном языке Клопштока и Гёте. Ко времени, когда мы вернулись в Москву, я сносно читал по-немецки и мог бы, вероятно, более или менее прилично объясняться, если бы мне разрешили войти во двор поблизости от почтамта, где работали пленные. Парень постарше меня, вернувшийся с фронта и работавший, как и я, сортировщиком на почтамте, называл меня Генрихом по причине, которую я не могу припом-

нить. Наступило изумительное время, война кончилась. Никто никогда не поймёт, что значили эти слова. В булочных продавцы наклеивали на газетный лист крошечные квадратики хлебных карточек, а букинистические магазины ломались от награбленных книг. Я выпросил у приятеля почитать «Фауста», пожухлый томик, изданный в Штутгарте в начале века, и с тех пор никогда его не возвращал. С ним я шатался по городу и, засыпая, запихивал его под подушку. В единственной на всю столицу маленькой библиотеке иностранной литературы, которую посещали интеллигентные старушки, читательницы французских романов, я взял «Книгу песен» Гейне и вернулся с ней через девять месяцев. Библиотекарша показала пальцем на соседнюю комнату, где мне надлежало уплатить астрономический штраф. Я вышел в другую дверь и сбежал, — разумеется, вместе с книгой. Осенью я поступил в университет и блеснул перед профессором античной литературы тем, что продекламировал знаменитое начало Пролога на небесах, где говорится о пифагоровой музыке сфер. А ко дню рождения дядя преподнёс мне двухтомный трактат Шопенгауэра «Мир как воля и представление» в синих переплётках с серебряным тиснением.

Я забыл язык, ибо это была уже не та немецкая речь, на которой мы беспечно болтали за столом у Эрны Эдуардовны и от которой осталось лишь лёгкое дуновение. Это был не тот язык, что рождается заново с каждым ребёнком, когда он начинает лепетать, язык, в котором звук и образ, мысль и движения губ невозможно разъединить, потому что они представляют собой изначально целое, и кажется странным, что вещи могут называться иначе и жела-

ние может выразить себя посредством других фонем. Язык живёт нераздельно во всех своих проявлениях, как тело со своими конечностями, язык пронизывает наше существо до той неуловимой границы, где действительность превращается в сон, дневной мир соприкасается с ночным; язык просачивается в бессознательное, и более того, мы вправе сказать, что язык трансформирует нашу психику, ибо он существует до своих собственных проявлений, до членораздельной речи, до артикуляции, до мыслизъявления и рефлексии. Язык — это ровесник души. Или, если угодно, её царственный супруг.

И вот в этот брачный союз, не терпящий посторонних, вторгается соблазнитель, и на ваших глазах, на глазах испуганной и замороженной души происходит что-то вроде дуэли на шпагах, совершается адюльтер. Кажется, что немецкий язык наделён качеством агрессии и совращения, — мужиковатый Дон-Жуан в окружении славянок, достаточно неотёсанный, чтобы предварительно получить отпор на западе от Марианны, но более удачливый, когда он имеет дело с душой русского языка.

Мужская природа немецкого языка проявляет себя в жёсткости его конструкций, в строгом порядке слов, этом наказании для новичка, в архитектурной грамматике, которая обходится сравнительно небольшим числом исключений и примиряет иностранца с его горькой участью. Мужская напористость этого языка сконцентрирована в его энергоносителях — бесконечно богатых и многообразных частицах, которыми обрастает глагол, но которые могут вести самостоятельное существование, ползая по фразе, сцепляться, разъединяться, становиться наречиями, могут звучать как приказы и заме-

нять целые предложения. Ни в одном известном мне языке нет подобного арсенала частиц, с поразительной точностью выражающих направление движения, частиц, как бы оснащающих фразу остриём и язык — крыльями. Но этот язык, умеющий быть грозно-лаконичным, язык коротких команд и сгустков энергии, машет своими крыльями, ползая по земле. Воистину непостижим подвиг германских поэтов, сумевших поднять в воздух эту махину.

Мужская тяжеловесность немецкого языка проявляется в громоздких глагольных формах, в торжественном поезде инфинитивов, следующих, как за локомотивом, после модального глагола или глагола в сослагательном наклонении. Мужское тяжелодумие языка выражается в хитроумном словообразовании, бесконечно расширяющем лексику, в пристрастии к длинным, как макароны, словам, над которыми посмеивался Марк Твен. Это тяжелодумие сказывается и в неколебимой серьёзности его юмора, и в той особой, неподражаемой обстоятельности, которая делает этот язык почти не способным к эллиптическому построению фразы. Перевод русской речи на немецкий язык напоминает танец легконогой красавицы с неуклюжим полковником, который топчет сапогами и трясёт большой головой, в то время как она порхает вокруг него. Пересказанный по-немецки, русский текст удлинняется на одну пятую или на четверть. Мужская дисциплина немецкого языка, столь непохожая на капризно-текучую женственность русского, требует грубой словесной материи, тяжеловесных языковых масс, чтобы ворочать ими и усмирять их. И, наконец, нет нужды распространяться о мужском даре абстракции, о средневековом реализме, вошедшем в плоть

языка и растворённом в его лимфе, о почти безграничной способности к субстантивации всех языковых элементов, обо всё ещё не законченном, всё ещё продолжающемся сотворении новых и новых отвлечённых понятий, в котором немецкий язык приглашает участвовать и вас, — они так же хорошо известны, как и злоупотребление этими дарами.

Но отношение к языку сохраняет музейную благоговейность до тех пор, пока вас не окунули с головой в эту вязкую стихию, пока чужой язык не залил ваши лёгкие, до тех пор, пока он не посвягает на ваш ум, вашу душу, ваш пол, ваши сны, ваши обмолвки. Так созерцают природный заповедник, который не может грозить стихийным бедствием. Так язык остаётся заповедным, покуда это язык кристаллизованной культуры. По крайней мере, таково ощущение человека, за свою жизнь знавшего считанное число живых носителей языка: тот, кто вырос в наглухо законопаченной стране, только и мог общаться с миром священных надгробий. Настал день, когда я вылез из самолёта, увидел немецкие надписи над входом в аэровокзал — и это было всё равно как если бы они были начертаны на древней умершей латыни. Как если бы мы очутились в Риме Вергилия! Конвейер подтащил к нам три полуразрушенных чемодана, постыдное имущество беглецов, кучки людей кругом переговаривались, не обращая на нас никакого внимания.

Это была *aurea latinitas*, золотая латынь! Или хотя бы серебряная. Это был немецкий язык, иератическая речь, невозможная в быту, недопустимая для профанного употребления, и, однако, она звучала здесь как нечто принадлежащее всем, не имею-

шее ценности, словно воздух, — немецкая речь, которую делали почти неузнаваемой живая небрежность произношения, беззаботная фонетика, народный акцент.

Итак, планеты выстроились в два ряда, и начало жизни повторилось полвека спустя. В два ряда, взявшись за руки, полагалось шагать за Эрной Эдуардовной, но один мальчик сгинул в Средней Азии, а для другого лёгкая речь детства стала языком изгнания. Будем откровенны, это — надменный язык, и он не признаёт никаких заслуг. Ветхий старец и учитель, учивший меня другой премудрости, — мы сидели в его каморке под самой крышей старого дома на Преображенке, на мне был бархатный берет, опустошённый молью, — говорил, что запрет читать Пятикнижие с непокрытой головой есть всего лишь модернистское нововведение, ему не более тысячи лет. Старик этот рассказывал о неслыханном оскорблении, нанесённом его брату; тринадцать поколений их рода подарили своему народу тридцать учёных знатоков Талмуда и священного языка. На девятом десятке жизни рабби прибыл в Иерусалим, вышел на улицу и задал вопрос босому мальчишке, на что тот презрительно ответствовал: «Сава (дедушка), ты плохо говоришь на иврите!» Итак, приготовьтесь заранее к унижениям, которым подвергнется в этой стране ваша учёность.

25

Эмиграция начинается, когда мираж небесного Иерусалима исчезает в сутолоке земного Иерусалима, когда сопляк поправляет ваши глагольные формы, когда филология поднимает руки перед жизнью. Эмиграция — это жизнь в стихии другого языка, который обступает тебя со всех сторон, грозит

штрафом за незаконный проезд, зовёт к телефону, талдычит в светящемся экране. Это жизнь в стихии языка, который высовывает язык и смеётся над тобой в маске неудобопонятного диалекта, чтобы вдруг, сорвав личину, показать, что это он, всё тот же, чужой и не совсем чужой, свой и не свой. Это жизнь в стихии языка, который зовёт к себе, в неверные объятия, между тем как родная речь, старая и преданная жена, смотрит на тебя с укоризной и пожимает плечами. Эмиграция — плавание в океане, всё дальше от берега, так что мало-помалу покрываешься серебристой чешуёй, с залитыми водой лёгкими, с незаметно выросшими жабрами. Эмиграция — превращение в земноводное, которое в состоянии ещё двигаться по земле, но уже мечтает о том, как бы скорей окунуться в воду...

Старики

Громкие голоса сотрясают пузырь молчания, которым окружён старик, бредущий по городу. Словно глухонемой, он поглядывает на прохожих. Люди жестикуют, смеются, бранятся. Люди слишком много разговаривают. Это потому, что они молоды и не знают, что все слова давно уже сказаны. Мир молодеет. Мир становится похожим на среднюю школу, на детский сад. Молодеют персонажи кино и книг. Старик перечитывает классические романы — у него много времени, — и оказывается, что их написали совсем молодые люди. Раньше он об этом не думал. Когда-то герои книг казались взрослыми и умудрёнными жизнью, оказалось — это были зеленые юнцы. Раньше это не бросалось в глаза. Старик не становится старше, старение — тоже позади, зато мир становится всё моложе и всё глупей.

27

Он вспоминает тех, кто жил тридцать, сорок или сорок пять лет назад, стариков своей молодости. Бездёжные люди — смертники, как ему казалось, тогда как сам он был бессмертен. Профессор клас-

сической филологии, сидевший в прихожей, в шубе и шапке, с палкой, с книгами на коленях, дожидаясь начала своей лекции. Теперь можно было бы запросто присесть с ним рядом. Прорекламировать вдвоём: «Ehéo fugáces, Póstime, Póstime, labúntur ánni»¹.

Родители: их давно нет на свете. Дико и странно подумать, что теперь ты вдвое старше своей матери, и она годилась бы тебе в дочки.

Совершим небольшое усилие, вернёмся в те времена, и земное притяжение, зов могилы, уменьшится вдвое, и можно будет, не останавливаясь после каждого марша, взлететь по лестнице на четвёртый этаж, войти в узкий коридор факультета. Странно думать, что это тело служило тебе и тридцать, и пятьдесят лет назад. Тело наделено собственной памятью, удостоверяющей его физическую непрерывность, какой бы неправдоподобной она ни казалась, подобно тому, как память души удостоверяет непрерывность моего суверенного «я». Как роман не перестаёт быть единым повествованием оттого, что его листают, как придётся: заглядывают в конец и возвращаются к началу, так непрестанно ткущее себя «я» не дробится от мнимой фрагментарности воспоминаний. Непрерывное «я» предполагает текучую неподвижность памяти и, наоборот, лёгкие скачки воспоминаний через годы и от места к месту. Если верить Бергсону, мы не забываем ничего, хоть и не помним о многом. Память — это несгораемый сейф, разве только забылся набор цифр, открывающий дверцу; память — тёмный подвал с бесконечными рядами стеллажей, на которых стоят

¹ Увы, Постум, Постум, уходят летучие годы». *Гораций*. Ода II, 14 (лат.).

коробки, громоздится рухлядь, с расходящимися коридорами, куда мы не заглядываем, — погреб забвения. Между тем существует факт, который доказывает, что на самом деле мы помним всё однажды увиденное и пережитое: спящий может узнать во сне города, давно исчезнувшие с его горизонта, и людей, о которых он никогда наяву не вспоминал.

Тело наделено памятью. Эти ноги помнят асфальт городов, скрипучие половицы, лестницы и площадки, белый плиточный пол операционных, чёрный прах и тлеющие болотные кочки лесных пожарищ, деревянные, скользкие от дождя, расщепленные колёсами лесовозных вагонок лежни, по которым шагают парами заключённые, держась друг за друга, чтобы не угодить в трясиину. Руки помнят игрушки, объятия, хирургические инструменты и браслеты наручников.

*

Тридцать лет тому назад перед подъездом центральной районной больницы стоял автомобиль с красными крестами на матовых стёклах, выдавшая виды колымага военных лет. В этот день в райздравотделе происходило совещание местной медицины. Подошёл кто-то из городских коллег. «Тут у нас приготовлен на выписку пациент с вашего участка, подвезите его, вам всё равно по пути».

Была осень. От бывшего уездного города до участковой больницы чеховских времён — пятьдесят километров по ухабистой мощёной дороге и три версты по просёлочной. Можно было ещё успеть выехать засветло. Очевидно, больной одевался. Наконец раздались шаги. Наверху, на лест-

ничной площадке, показалась молоденькая сестра. Она вела под руку пациента. Это был дряхлый старец в заплатанных портах, валенках и долгополом рубище.

Стали сходить по лестнице. Старик вцепился в провожатую. На каждой ступеньке он останавливался, набираясь отваги для следующего шага.

«Куда ж я теперь с ним?»

«Вот тут все документь», — сказала сестра.

«Где его вещи?»

«А у него нет вещей».

Я развернул бумаги. Больной жил в стороне от тракта, в дальней деревне, куда и летом добраться непросто. Был доставлен в городскую больницу четыре месяца тому назад. Диагноз... Дальше шло длинное, наподобие аристократического титула, перечисление недугов, которое можно было бы заменить одним словом — старость.

«Дедуль!»

«Ась?»

«У тебя из родных кто-нибудь есть?»

«Чего?»

«Родственники, говорю, есть?»

Всё было ясно. Беспомощный, беспризорный, кочующий по больницам старик-одуванчик; дунет ветер — и нет его. Без жены, без детей, без внуков, в избе-развалюхе, ни дров наколоть, ни воды принести. Числится колхозником, стало быть, и пенсии никакой.

«Ничего, — сказала сестричка и погладила деда по жёлтому черепу, — он у нас молодцом. Он у нас ещё ходит. Презимует у вас, а летом сам домой запросится».

Месяца через два выяснилось, что у деда есть

дети. Дочь живет в Москве. Сын в Ленинграде. Сбежали из тухлой деревни в город, бросили старого инвалида на произвол судьбы. Вот мы теперь вам о нём и напомним! Я сидел в амбулатории, в комнатке за дверью, на которой красовалась табличка «Главврач», и злоратно потирал руки. Затем умокнул перо в чернильницу и начертил два грозных письма.

Ответ, как ни странно, не заставил себя долго ждать. Два ответа.

Сын прислал длинное, вежливое и уклончивое письмо. Он благодарил за заботу о больном, обещал непременно проведать его в будущем году. Он полностью согласен, что в деревне о старике некому позаботиться. Нужно что-то предпринять, как-нибудь решить эту проблему, так как взять отца к себе он, к сожалению, в настоящий момент не может. Он ютится с женой и двумя детьми в пятнадцатиметровой комнате, работает милиционером, зарплата сами знаете какая. Единственный выход — поддержать папашу ещё в больнице. Не могли бы врачи похлопотать о доме престарелых?

Письмо от дочери было лаконичным. О себе она ничего не сообщала и не просила отсрочки. «Вы хотите, чтобы мы забрали к себе отца, — писала она, — ну так вот, этого никогда не будет. Жалуйтесь куда хотите, а мы его не возьмём. Какой он нам отец? Он нас бросил маленьких с матерью и знать о нас ничего не хотел всю жизнь. А теперь вспомнил. Теперь мы ему понадобились. Никакой он нам не отец. Так ему и передайте».

Можно было бы ответить ей, что дед вообще уже ничего не помнит. Прошло ещё сколько-то времени. В конце апреля в наших краях наступает весна.

Словно грянул, сверкая трубами, с небес духовой оркестр. Вдруг в одну ночь всё начинает таять, чернеют дороги, голые леса стоят по колено в воде. Вода, куда ни ступишь, и мокрый взъерошенный скворец за окошком заливаётся как безумный. Потом земля, по народному выражению, расступается. Теплый пар стелется над лугами, просыхают лужи. Сестра из городской больницы оказалась права, — когда начало припекать солнце, дед стал проситься выписать его. И тяжелый рыдван с красными крестами, прыгая на ухабах, повёз его за тридцать вёрст в родную деревню.

*

Каждый день рано утром я садился в трамвай возле Выставки достижений сельского хозяйства, и каждое утро, тремя остановками позже, в вагон входил и садился напротив ветеран в железных очках, высокого роста, с длинной жёлто-белой бородой, с узелком в руках. Клиника находилась в новом районе. Я ходил, и следом за мной ходил старик.

Я раздевался в гардеробе для персонала. Старик снимал ветхое пальто в раздевалке для посетителей. Я взбежал по лестнице на второй этаж. Старик ехал в лифте. Мы входили в отделение, он направлялся в палату, а я отворял дверь в ординаторскую, где ждали меня подчинённые.

Раз в неделю происходил обход заведующего отделением. Церемония состояла в том, что я шествовал от одной двери к другой, три врача, держа папки с историями болезни, следовали за мной, в палатах стояли наготове сёстры, а с кроватей на нас смотрели очаговые пневмонии, язвы двенадцати-

перстной кишки, ревматические пороки сердца и различные степени недостаточности кровообращения, принявшие облик живых (или полуживых) людей.

В конце коридора, на женской половине, в последней палате сидел возле койки у окна старик. На тумбочке стояла тарелка с недоеденной кашей и букетик цветов в бутылке из-под кефира. А на койке, под двумя одеялами, лежало крошечное сморщенное существо с птичьим лицом, с лысой головкой, в перевязанных ниткой железных очках, таких же, как у старика. Это была его мать.

«Поздравляю» — сказал я фальшивым голосом. Очки повернулись в мою сторону, но понять, слышит ли меня больная, было невозможно. В этот день ей исполнилось сто лет.

Я попросил старика заглянуть ко мне попозже, и процессия двинулась в обратный путь.

После обеда он вошёл в кабинет.

«Ага. Присаживайтесь. Ну-с... как вы находите маму?»

Он пожал плечами.

«Мы считаем, что налицо определенный прогресс, — сказал я, употребляя первое лицо множественного числа, которое в грамматике именуется *pluralis majestatis*² и принято в обращениях царствующих особ к народу, в России же используется, когда хотят сложить с себя ответственность за предстоящее. — Не правда ли?» — спросил я у палатного врача.

«Безусловно».

«Ну вот и прекрасно. Видите ли, какое дело... Мы хотели с вами поговорить».

² Множественное величества (*лат.*).

«О чем?» — спросил старик.

«Ваша мама находится у нас уже четыре месяца».

«Три с половиной».

«Не будем спорить. За это время достигнут определённый прогресс. Во всяком случае, состояние стабилизировалось... Вот мы и подумали, что, может быть, уже пора выписываться. Как вы считаете?»

Практика выработала у родственников сложные приёмы самозащиты. Ни в коем случае не спорить. Во всём соглашаться с врачами. Долго и трогательно благодарить за заботу. Нигде, ни в одной больнице не было такого внимательного ухода, такого квалифицированного лечения. Конечно, мы обязательно возьмём маму, тетю, бабушку. Но не сейчас. Нельзя ли продлить лечение хотя бы дней на десять? Так сказать, закрепить результаты. — Но позвольте. Больная не нуждается в лечении, только в уходе. — Значит, нам нужно кого-то подыскать. — Вот и ищите. Сами видите, отделение переполнено, больные лежат в коридоре. Настоящие больные. — А разве мама не настоящая больная? — Помилуйте, четыре месяца! — Три с половиной. — Ладно, не будем спорить. Итак?.. — Что «итак»? — И разговор, похожий на торговлю, начинается сызнова.

Вместо этого старик сказал:

«Я её не возьму».

«Как это — не возьму?»

«А вот так».

«Но вы же прекрасно понимаете, что...»

«Прекрасно понимаю».

«Ведь она вам мать! Вы что же, от неё отказываетесь? Тогда устраивайте её в дом престарелых».

«Куда?» — переспросил он.

«В дом престарелых»

Некоторое время мы изучали друг друга.

«Мне восемьдесят два года, — сказал он. — Тем не менее я слышу достаточно хорошо. Поэтому повышать голос нет надобности. Если бы я хотел отказаться от мамы, вы бы меня здесь больше не видели. Ваши сёстры и няньки давно уже к ней не подходят. Я сам всё делаю. Стираю бельё, привожу каждый день чистое, перестилаю кровать, кормлю. И буду так делать и дальше. Но взять её домой — нет. Что я буду с ней делать? У меня никого больше нет. Мы там с ней помрём. А что касается дома престарелых... Вы, я думаю, хорошо знаете, что попасть туда невозможно. Обивать пороги учреждений я не в состоянии. Но даже если бы это и было возможно. Всё, что угодно, но только не дом престарелых. Можете на меня жаловаться куда хотите».

*

Старость — это искусство делать вид, что смерти не существует. В юности время работает на нас. Старик знает: время работает против него. Что бы ни случилось, при любой погоде и любом правительстве — время работает против него. Он как путешественник в шатком и тряском экипаже, который несётся к обрыву, но остановить лошадей нельзя и выпрыгнуть невозможно. И он смотрит по сторонам, любит ландшафт.

Свободный человек Спинозы взирает на вещи с точки зрения вечности. Его цель — не плакать и не смеяться, а понимать. Свободный человек, сказано в «Этике», ни о чём так мало не думает, как о смерти,

и его мудрость состоит не в размышлении о смерти, но в размышлении о жизни.

Мы должны снова перевести стрелки назад, когда славные изречения были всего лишь грамматическими конструкциями, когда согласование времён подчинялось твёрдым правилам, прошедшее не имело никаких преимуществ перед настоящим и будущим и вечность классических текстов торжествовала победу над бренностью жизни.

Нам не приходило в голову, что молодость должна распрощаться с собой, чтобы обрести голос, который будет звучать века. Мы не задумывались над тем, что Ксенофонт, автор первых, быть может, в истории литературы воспоминаний — «Анабасиса» — был немолод, как и подобает мемуаристу, и воображали его молодцом на коне, в сверкающем панцире, а не старым хрычом в элидском изгнании. Вместе с ним мы отправились в путь, ещё не зная о том, что персидский царевич замыслил отнять у старшего брата престол. В решающем сражении мы одержали победу, мы видели, как царевич с шестьюстами всадниками гнался за бегущей армией Артаксеркса, слышали, как Кир закричал: «Вон он, я его вижу!» И пробил копьём золотой нагрудник брата, но в следующую минуту сам получил удар в лицо. Артапат, подлетев на всём скаку, спрыгнул с коня и, плача, упал на тело мёртвого Кира. А мы, десять тысяч наёмников, остались без цели в чужой стране с суровым климатом, без припасов, не зная, куда нам двинуться, и Ксенофонт, вчерашний солдат, повёл нас сквозь дебри к родному, далёкому морю.

Мы не догадывались, что отстранённость рассказа, бесстрастие автора, повествующего о себе в тре-

тѣмъ лице, — примечательная находка, литературный приём старости.

Наш доцент отличал меня, могу сейчас сказать — любил почти как сына, вернее, как внука, а я беззастенчиво злоупотреблял его привязанностью и опаздывал на занятия. Все уже сидели на своих местах в нетопленной аудитории, и он стоял перед кафедрой, лысый и маленький, в облезлой шубе, в позе античного оратора, открыв рот и подняв указательный палец. Я появлялся на пороге, и, не поворачивая головы, он саркастически приветствовал меня: «Доброе утро!»

Только что был прочитан абзац Саллюстия, из «Войны с Югуртой», поднятый палец означал, что учитель задал свой любимый вопрос и ожидает ответа. Мы разбирали текст, как шахматную партию, нимало не задумываясь над тем, что он, собственно, выражает. Важно было знать, каким оборотом блеснул в данном случае автор, и выпалить:

«Praesens historicum! Congruentia inversa!»³

Ибо цель и смысл словесности не в том, чтобы что-нибудь сообщить. Цель, и смысл, и достоинство литературы во все века состояли в том, чтобы демонстрировать немеркнущее величие языка.

Для избранных существовали факультативные занятия, где мы усердно переводили и комментировали доселе не издававшуюся на русском языке «Апологию» Апулея, жуткую историю о том, как красивый молодой африканец обольстил богатую вдову, но родственники вовремя догадались, что он зарится на её наследство, и обвинили его в колдовстве. Только благодаря ораторскому искусству —

³ Историческое настоящее, обратное согласование (лат.).

хорошо подвешенному языку — удалось ему избежать смерти.

Предполагалось, что наш коллективный труд будет опубликован, но в разгар работы старый учитель умер. В первый раз я пришёл к нему домой. Он жил совершенно один, на последнем этаже огромного старого дома без лифта, в комнатке, заставленной картонными коробками, где лежали его книги. Слава Богу, он не дожил до моего ареста.

*

Несоответствие было поразительной чертой времени. Нечто абсолютно несовместимое — вместе, рядом.

Классическое отделение, — какой это был странный заповедник, Телемское аббатство, музей, где мы существовали каким-то образом посреди гнусной эпохи. На коммунальной кухне уцелевшая дворянка могла стоять перед кастрюлями и керосинками бок о бок с женщинами, поднявшимися со дна; в центре города перед старым зданием Университета стояли почернелые от времени статуи Герцена и Огарёва, а рядом, в десяти минутах ходьбы, возвышался гранитный дом-колумбарий с подвалами, застенками, и прогулочными дворами на крышах, охраняемый пулемётами и часовыми, где сидели в своих кабинетах в кителях и погонах, в синих разлзатых штанах волосатые человекообразные существа, которые только вчера слезли с деревьев.

38

Тридцать первого декабря в кабинете за двойной дверью, за дубовым столом, под портретом Рыцаря революции сидел старик или, по крайней мере,

тот, кто должен был вошедшему посетителю казаться стариком, и делал вид, что читает бумаги. Был двенадцатый час ночи.

Слева от него, у окна за столиком с пишущей машинкой, сидел секретарь, человек-нуль без внешности, актёр без речей.

Генерал был маленького роста, что не сразу бросалось в глаза, лысый, жирный, коротконогий, могущественный, в мундире со стоячим воротником, с колодками орденов и погонами, золотыми и широкими, как доски. О чём он думал? О том, что люди празднуют Новый год, а он должен работать? И что предстоит пропустить ещё сколько-то десятков посетителей? И что впереди такие же бессонные ночи в сияющем лампами кабинете с зарешёченными окнами, с секретарём и охраной, длинный ряд ночей, пока, наконец, его не повезут между рядами войск на пушечном лафете, животом кверху, в коротком красном гробу, и на крышке будет лежать его огромная блинообразная фуражка с голубым верхом и капустой из латуни на козырьке, а сзади будут нести его ордена на подушках? О том, что он отдал всю жизнь великой борьбе и будет служить ей до последнего издыхания? Что он государственный деятель высшего ранга и обязан вести образ жизни государственного деятеля, говорить и мыслить по-государственному? Что он ни в чём не сомневается и ни о чём не сожалеет? Что от него зависит всё, а может, ничего не зависит? Что он служит гнусному, грязному делу, что он Генеральный прокурор по спецделам, и ничего уже не поделаешь, и ему некуда деться? Пожалуй, он вообще ни о чём не думал и лишь выдавливал из себя каждые пять минут одно и то же слово: «Следующий».

Закон требует, чтобы каждый прошедший процедуру следствия предстал перед прокурором, прежде чем получить срок. Закон есть совокупность правил и процедур, по которым надлежит творить беззаконие. Генеральный прокурор стоит на страже закона.

Тот, кого втолкнули в кабинет, — увы, это была ты — униженно лепетал о снисхождении, и величественный прокурор, не дослушав, продиктовал протокол ознакомления с делом.

Несколько лет спустя он сам был арестован и убит уголовниками на этапе, в стольпинском вагоне.

*

Глубокой ночью вас ведут по длинному коридору мимо железных дверей, поворот, другой коридор и лестница, ограждённая сеткой, и опять коридоры. Яркий свет, тишину нарушают лишь звук ваших шагов и цоканье сапог провожатого. Кажется, что во всём огромном здании вы единственная живая душа.

Остановились перед дверью с трёхзначным номером, ключ вгрызается в замочную скважину, вас вталкивают внутрь. Перед вами зал спящих. Люди тесно лежат на двух помостах от двери до окна, посередине проход.

Перевод из спецкорпуса в общую камеру — важное событие, оно означает, что следствие закончено; осталось ждать, когда вас вызовут и объявят приговор. Много месяцев вы не видели никого, кроме следователей, надзирателей и двух или трёх сокамерников, вы не знаете, что творится на белом свете, и с трудом представляете себе, какое время

года на дворе. Вы разглядываете публику. Вам двадцать один год, у вас превосходное настроение.

Утренняя поверка. Обитатели камеры, народ всех возрастов, наций и состояний, выстроились в два ряда вдоль нар. Надзиратель выкликает фамилии. Полагается выйти из ряда, назвать свое имя, отчество и год рождения. Рядом стоит подросток лет шестнадцати в щегольском пиджачке, француз с русским именем, которое он не умеет выговорить. После войны родителям-эмигрантам пришла в голову несчастная мысль вернуться на родину. Мальчику наша страна не понравилась, он решил уехать назад в Париж. Измена Родине.

Наискосок от меня делает шаг вперёд могучий старик в седой щетине. Одет во что-то неописуемое: не то домашняя пижама, не то лыжный костюм тридцатых годов, на ногах тапочки. Говорит громко-подобным басом с местечковым акцентом.

Я начинаю привыкать к новому обществу. В камере шестьдесят душ. Мы находимся в одной из старинных, славных московских тюрем. О ней известно, что некогда она получила премию на международном конкурсе пенитенциарных учреждений. До революции в камере, как наша, содержалось человек пятнадцать, но с тех пор население страны значительно выросло. У окна помещается стол, единственная мебель, не считая нар, за столом сидит бывший посол Советского Союза в Великобритании. За скромное вознаграждение посол предсказывает будущее при помощи шариков из хлебного мякиша.

Если когда-нибудь будет создана Общая теория гадания, она должна будет стать отраслью науки о

языке. Точность пророчества зависит от неточности языка, которым пользуется прорицатель, идет ли речь о толковании снов, прогнозе погоды или о судьбах нашей планеты в XXI столетии. Другими словами, гадательная терминология должна быть достаточно растяжимой, чтобы предусмотреть всё, что угодно. Поистине достойно восхищения искусство камерного авгура, полнота информации, которую он выдавал (он остался жив и спустя много лет выпустил свои мемуары). Вы могли узнать, сколько вам влепят, долго ли ещё остаётся торчать в тюрьме, далеко ли загонят. Последний вопрос представлял немалый интерес, так как Россия — государство весьма обширное. Жаль, что я не спросил у гадалки, когда околеет Сталин.

*

Можно проснуться от жизни, как пробуждаются от сна, и в самом деле время от времени как будто просыпаешься и протираешь глаза. Старость есть нечто неправдоподобное. Нужно потратить годы, чтобы удостовериться, что это правда, многим это так и не удаётся.

Страница из дневника Андре Жида:

42 «Оттого, что моя душа осталась юной, мне всё время кажется, что мой возраст — это просто роль, которую я играю, а мои старческие немощи и невзгоды — суфлёр, и он поправляет меня шёпотом всякий раз, когда я отклоняюсь от роли. И тогда я снова, как послушный актёр, вхожу в образ и даже испытываю определённую гордость оттого, что исправно играю свою роль. Куда проще было бы

стать самим собой, вернуться в юность, — да только вот костюма подходящего нет».

«Ерунда, — сказал старик-Голиаф, поглядывая издали на посла, который, по-видимому, неплохо зарабатывал на своём новом поприще, — у этого бездаря нет ни тени фантазии. Типичный социалистический реализм. А мы живём в век сюрреализма. Запомните это, молодой человек...»

Он был художником Госета — Государственного Еврейского театра, более не существовавшего. Вслед за великим артистом Михозлсом и второй звездой театра, Зускиным, настала очередь и моего соседа по нарам. Правда, он не был столь известен. Соответственно и размах его преступной деятельности был скромнее. Он обвинялся в антисоветской агитации, которая состояла в том, что однажды он сказал, будто в стране с такими грязными сортирами построить социализм невозможно. Похоже, что он был прав. Во всяком случае, это обвинение представлялось более правдоподобным, чем злодеяния Зускина и Михозлса; но у меня на этот счёт есть своя теория, а именно, что мы все были виноваты независимо от того, что мы делали или говорили. Мы были виноваты, так как не бывает безвинных там, где все следят друг за другом и все друг друга подозревают. Мы были виноваты, так как существовали органы, которые должны были нас вылавливать, кабинеты следователей, где мы должны были сознаваться в наших преступлениях, и лагеря, где нам предстояло строить лучезарное будущее. Кратко говоря, мы были виноваты самим фактом своего существования.

Я спросил: что такое сюрреализм?

«Наша жизнь, — ответил он. — Искусство должно шагать в ногу с жизнью. Гадание — тоже

своего рода искусство. Но что он мне может сказать? Я и так всё знаю заранее...»

Семьи у него не было. Многочисленные спутницы жизни, многочисленные дети — всё разлетелось, как разбитая вдребезги посуда. Арестовали его на улице, в центре города, среди бела дня: остановился автомобиль, его окликнули. Цепкие руки втащили его в машину, дверца захлопнулась, никто не обратил внимания. В Москве можно сесть на тротуар и умереть от тоски или от сердечного приступа — никто не заметит. Друзья прислали ему пижаму и пятьсот рублей, которые он проедал, получая продукты из тюремного ларька. По правилам тюрьмы, деньги заключённого хранились в кассе, можно было заказывать еду. Была даже библиотека.

Увидев меня с книжкой, старик полюбозыгствовавал, что я читаю. Сам он прочёл всё на свете. «Евреи — народ книги, — объяснил он. — Пока другие живут и наслаждаются жизнью, мы читаем. Поэтому для нас нет ничего нового под луной. Когда вы станете старше, вы поймёте, что я имею в виду».

44
— Что стало со старым художником, куда он делся? Пережил ли он многодневный путь на край света в тёмной, до отказа набитой людьми клетке столыпинского вагона, разбой и террор уголовников, пересыльные тюрьмы, карантинные лагпункты? Вспоминая его философствования, я не нахожу их оригинальными. Видимо, он был склонен считать свою жизнь чем-то вроде парадигмы целого народа, которому приписывал свой собственный образ мыслей. Это бывает часто с интеллигентами. Быть может, он находил в этом утешение.

«Старость, молодость — какая разница... Мы уже рождаемся стариками. В возрасте, когда наши сверстники сидят на горшке, мы размышляем. Это оттого, что мы очень старый народ. Похоже, что мы зажились на этом свете...»

«Мы живём в истории, как другие живут в реальной действительности, мы шагаем спиной вперёд, лицом к далёкому прошлому, к ханаанским предкам. Всё, что для других — будущее, мы уже пережили».

Голоса сотрясают пузырь молчания, но это не голоса живых. Незаметно для нас самих наступает двойное отчуждение от внешнего мира и от собственного измочаленного тела. Не только мир, но и собственную плоть начинаешь ощущать как нечто внешнее по отношению к тому, чем ты, собственно говоря, являешься. Тогда оказывается, что это «я», наша личность — всецело соткана из памяти.

*

Жил некогда человек, который хотел свою жизнь устроить по-божески и в ответ получил обещание, что Бог его не оставит. Под конец, достигнув преклонных лет, он спросил у Предвечного: «Можно ли удостовериться?» «В чем?» — спросили у него. «В том, — сказал человек, — что Ты на самом деле прошагал рядом со мной весь мой путь». И ему приснился сон, это была пустыня, и действительно, рядом с его собственными следами на песке виднелись следы двух других ног. И следы провожатого бок о бок с его следами уходили к горизонту. Как вдруг дорога пошла вверх, и следы от ног провожатого исчезли. Следы одинокого путника под-

нимались по крутому склону. Потом стали спускаться, и опять рядом появилась вторая пара следов. «Ты меня обманул! — вскричал старик. — Ты шел со мною, пока идти было легко. А когда путь становился труднее, когда надо было карабкаться вверх и я стал задыхаться, Ты бросил меня на произвол судьбы, Твоих следов больше не было рядом со мной».

И Голос ему ответил: «Это оттого, что Я нёс тебя».

Левиафан, или Величие советской литературы

Вспоминая книги, прочитанные в отрочестве и юности, оставившие глубокий след, я не нахожу среди них ни одной, созданной в СССР после 1930 года. Книги, выходявшие в годы пятилеток, книги военных лет, некогда страстно обсуждаемые и, очевидно, имевшие успех, остались за бортом. Хорошо это или плохо?

Можно догадаться, почему злободневная литература встречает у подростков меньше понимания, чем у взрослой публики. Подросток охотней живёт в мире романтического прошлого, в великом мире истории или — что часто одно и то же — в мире мифа. В известном смысле пятнадцатилетний книголюб — более бескорыстный читатель, а может быть, и более культурный, чем читатель в сорок лет. Может быть, поэтому взрослые читатели согласны потреблять литературу «на актуальные темы», каково бы ни было её качество.

Во всяком случае, после классиков жевать произведения современных отечественных писателей

было невозможно. Сторониться этой литературы, избегать её, как избегают дурного общества, было чем-то вроде защитного рефлекса задолго до того, как стали понятны механизмы манипулирования литературой. Это покажется снобизмом, но произведения советских романистов выглядели глуповатыми, написанными для подростков, — то есть именно теми, от которых подросток отворачивается. Такое почти инстинктивное пренебрежение не могло пройти даром. В год окончания войны на предварительном собеседовании с поступающими в Московский университет парторг филологического факультета осведомился, читал ли я «Волоколамское шоссе» Александра Бека. Я ничего не мог ответить, я даже не слышал об этом писателе.

Живи мы в другой стране, на вопрос экзаменатора, что я думаю о современном писателе NN, можно было бы ответить: «Sorry, но этот автор мне не нравится». На что последовало бы возражение: «Прекрасно, вот и поделитесь вашими соображениями, почему он вам не нравится». Этот мысленный эксперимент мгновенно устанавливает водораздел между советской литературой и любой другой. Советская литература не может не нравиться, как не может не нравиться советская власть. Можно разгуливать по залам этой литературы, болтать с коллегами и попивать напитки в буфете, но не следует ни на минуту забывать, что у дверей стоит вооружённая охрана.

Очень может быть, что повесть Бека всё же была достойна внимания 17-летнего юнца; вообще никакое предубеждение не заслуживает похвалы. С тех пор утекло много воды. Осталась позади целая

эпоха русской истории и литературы. Перечеркнуть её, сделать вид, что её не было, мы не можем.

Академическое литературоведение всегда уделяло слишком мало внимания тривиальной словесности. Между тем следовало бы отнестись серьёзней к советской литературе её зрелой поры, ближе и пристальней рассмотреть образцовые творения её корифеев. Подобно всякой тривиальной литературе, она традиционна и ультраконсервативна. Нам пришлось постепенно привыкнуть к мысли, что в те времена — и даже именно в те времена, — когда государство скрутило ей руки, в худшие и постыднейшие времена, советская литература отнюдь не знаменовала обрыв русской литературной традиции. Какая ни есть, она была преемницей классической литературы, — если угодно, паразитировала на ней (что и является уделом всякой массовой словесности).

«Я хочу поставить один вопрос, — писал Мандельштам, — именно, едина ли русская литература?» Порой казалось, что нить оборвана. Но это только казалось. Единый путь ведёт через десять веков от Иллариона, предполагаемого автора «Слова о законе и благодати», до счастливых обитателей Переделкина и Малеевки.

Сравнительно недавно делались попытки представить литературу (а также зодчество, изобразительные искусства и т. д.) советской и в первую очередь сталинской поры некой разновидностью авангарда. Эти попытки смехотворны. Социалистический реализм — глубоко реакционная теория, породившая столь же реакционную практику. Какое бы ни было идейное содержание романов, поэм и пьес, отвечающих канонам этого искусс-

ва, его эстетика, вся система его приёмов всецело ориентированы на XIX век.

Представим себе, смеха ради, Толстого, который не умер и не был зарыт в роще у оврага Старого Заказа, а, как старец Фёдор Кузьмич, укрывшись в сибирских дебрях и дожил до светлой зари. Представим себе Толстого, пересмотревшего свои ошибки, преодолевшего свои кричащие противоречия, внимательно прочитавшего работу Ленина «Лев Толстой как зеркало...»; Толстого — маршала советской литературы, Толстого — лауреата премий, Толстого — генерального секретаря Союза советских писателей. Что бы он написал? То, что в действительности написал другой генеральный секретарь: роман «Молодая гвардия». Достаточно прочесть первый абзац: его перо, не правда ли.

Совсем не удивительно, что боец РАППа оказался эпигоном дореволюционной литературы. Призыв молодого Фадеева учиться у классиков, целая дискуссия, разгоревшаяся в конце двадцатых годов, о том, критически или некритически овладел Фадеев «творческим методом» Льва Толстого, не должны вызывать улыбку. В том-то и дело, что этот пудель, выстриженный под льва, его наследник. Уж какой есть.

Нельзя судить о литературе, как судят о писателе, — по его лучшим, высшим достижениям. О литературе нужно судить по её худшим или хотя бы рядовым образцам. Именно в них наглядно проступают её родовые черты. Писатель рождается и созревает внутри некоторой традиции, но степень его значительности определяется тем, насколько ему

удалось выдраться из традиции. Всю жизнь писатель ведёт войну со вскормившей его литературой — либо сдаётся, превращаясь в её заурядного представителя.

К литературе применимо понятие парадигмы, введённое в науковедение Томасом Куном, автором нашумевшей в 60-х годах книги «Структура научных революций». Слово «парадигма» заимствовано из грамматики, где оно означает образец склонения, спряжения и т. п.

Напомним, что под парадигмой Кун подразумевает представление о том, какой должна быть «нормальная» наука: круг проблем, достойных рассмотрения, система взглядов, основанных на достижениях, которые признаны классическими, поле аксиом, предписывающих, что считать научным, а что ненаучным. Рядовая наука предполагает мирную исследовательскую деятельность под сенью чтимых монументов, — в разное время ими были «Физика» Аристотеля, «Альмагест» Птолемея, «Вращения небесных сфер» Коперника, «Начала» Ньютона и так далее. Мирный период продолжается до тех пор, пока новая революционная теория не заставит пересмотреть утвердившиеся взгляды, опрокинет старую парадигму и учредит новую.

В литературе существование внутри парадигмы столь же почтенно, ибо тоже осенено бессмертными образцами. Литературное сообщество, аналог сообщества учёных, сознательно принимает позу благоговейного ученичества у великих предшественников. Тень Толстого нависла над русской прозой на доброе столетие. Нелегко усвоить жестокую истину, что «Войну и мир», этот «Альмагест» отечественной литературы, может пошатнуть какой-нибудь новый Коперник.

Вместо этого литература обязуется свято исполнять свой долг — нести светоч, выпавший из могучей руки основоположника. Делать это можно только шагая в едином строю. Поэтому литература находит своё наиболее адекватное воплощение не в лучших, аномальных образцах, а в худших — нормальных. Не Пушкин и Чехов представляют «нормальную» русскую литературу XIX века, а Бенедиктов и Потапенко. Литература — враг писателя. Чехов заметил в одном письме: «Мы можем взять усилиями целого поколения, не иначе... Некоторым образом артель». Сам он, однако, уклонился от участия в этом субботнике.

Парадигма советской литературы в конце концов оказалась парадигмой умирающего XIX века. В конце концов, ибо это случилось не сразу. Если, вслед за М. О. Чудаковой, мы поделим историю русской литературы после 1917 года на два периода, приняв за условную границу год смерти Маяковского или год созыва первого съезда советских писателей, то окажется, что лишь вторая половина выглядит, так сказать, безупречно советской. Можно заметить, как стремительно меняется общество в решающее для становления государственной литературы десятилетие 1925—1935. Меняются лица, исчезают образованные люди, упрощается язык, уплощается мышление. За каких-нибудь несколько лет происходит чуть ли не антропологическая революция. Происходит кристаллизация режима. Парадокс утверждающейся литературы бросается в глаза: она вещает о новом человеке — и возвращается к старой, обветшалой эстетике. Бескомпромиссное отвержение всякого новаторства — её главная черта.

И, однако (могло ли быть иначе?), есть в ней нечто новое, неслыханное. Дадим ещё раз волю воображению и представим себе Творца. В первый день он отделил свет от тьмы, во второй день — верхние воды от нижних, далее сотворил землю и тварей земных. И, наконец, на седьмой или восьмой день, когда всё было готово, когда были созданы производительные силы и производственные отношения, сконструирован государственный механизм, сочинена идеология, изобретена партия и создана печать, — он сказал себе: а теперь придумаем литературу.

Да будут писатели! Учредим Союз. Установим приличные гонорары. Построим дома творчества, создадим комиссии, семинары, секции, редакции. Придумаем литературные жанры и способы сочинения художественных произведений, изобретём универсальную теорию литературы и назовём её социалистическим реализмом.

В этой утопии есть доля реальности. Эта литература есть, прежде всего, организация; всё остальное — книги, тексты, словесность, литературный процесс — представляется вторичным: это продукт её жизнедеятельности. Порой она на самом деле уподобляется огромному бюрократическому организму, смысл которого — в нём самом, а то, чем он ведаёт, есть некий придаток. Эта литература существует не потому, что она возникла, есть и ничего тут не поделаешь, а потому, что в тщательно выверенной государственной машине, смонтированной по единому плану, предусмотрен такой вид оснастки, который называется художественным творчеством. Литература в такой же мере порождает литературную бюрократию, в какой сама ею порожде-

на. Таков её проект, в который жизнь, естественно, вносит помехи и неполадки.

Строго говоря, нельзя представлять себе дело так, что была литература и были надзирающие за ней инстанции. Сказать, что советская литература существовала и развивалась в условиях несвободы, значит польстить ей или оклеветать её. В любом случае эта точка зрения основана на недоразумении: термин «цензура» принадлежит другой эпохе и плохо подходит к организованной литературе, так как подразумевает нечто внеположное литературе. Тогда как в нашем случае цензура — её интегральная часть. Цензура встроена в литературу; цензура — это и есть литература. Несвобода входит в её определение, предполагает её существование и, следовательно, уже не является несвободой.

Хотя к услугам пишущих существовал Главлит, предназначенный, согласно его полному наименованию, для охраны государственных тайн в печати, хотя тайной было всё, от лагерей до статистики гриппа, от стихийных бедствий до цен на картошку, и цензоры не сидели без дела, однако можно предположить, что упразднение этой конторы не изменило бы сути и облика советской литературы. Вся система прохождения текстов через иерархию редакторов и начальств, комбинация шлюзов и сит, гарантировала выдачу высококачественного очищенного продукта. Главной же инстанцией, контролирующей писателя, был, как известно, он сам. Писатель сам оценивал себя совокупным взглядом всех инстанций, выполнял для себя роль и редактора, и директора, и партийного опекуна, сам, предваряя официального критика, учинял себе мысленный разнос, сам стучал на себя воображаемому, хотя и вполне реальному оперативному уполномоченному.

В воспоминаниях покойного В. Я. Лакшина «Открытая дверь» подробно рассказано о том, как «загоняли в глухой угол» (по выражению мемуариста) возглавляемый Александром Твардовским «Новый мир». Непрестанные цензурные и административные придирки; тщетные попытки отстоять талантливого автора, правдивую вещь; травля в официозной печати, демонтаж редакции и, наконец, отставка главного редактора. Кто не помнит, что значил в то время для образованной публики «Новый мир»? Перед нами один из самых ярких примеров того, как жизнь нарушала «проект». Именно поэтому, читая эти волнующие страницы, испытываешь некоторое недоумение.

Все участники «на работе». Все получают зарплату, по тем временам очень неплохую. Обязанность всякого чиновника — соблюдать трудовую дисциплину, другими словами, выполнять инструкции и требования начальства. Вы их не выполняете или выполняете недостаточно аккуратно; вам говорят — следуйте такой-то линии, вы же норовите с помощью разных уловок от неё отклониться. Начальство недовольно и прибегает к санкциям. Что ж вы жалуетесь?

Мемуары Лакшина, как и множество подобных книг и статей, создают иллюзию, будто существовала независимо развивающаяся литература и противостоящая ей литературная бюрократия. Это неверно, — во всяком случае, с точки зрения бюрократии, которая представляет государство и вне которой при существующем строе литературы вообще не может быть. «Do ut des», — говорит государство, Левиафан Гоббса. «Даю, чтобы и ты мне дал». Кто платит, тот и заказывает музыку.

Главный редактор обитает на комфортабельной даче, предоставленной ему начальством, приезжает на работу в государственной машине с шофёром, чьи услуги ему не надо оплачивать. В городе у него имеется прекрасная квартира в доме на Бородинской набережной. Главный редактор — народный, то есть государственный, поэт-лауреат, занимающий высокие посты в партийной и литературной бюрократии. Союз советских писателей часто уподобляли министерству, — можно сравнить его с офицерским корпусом. Мы бы не удивились, услышав, к примеру, что на съезде писателей Георгий Марков появился в мундире генерала армии, Шолохов — в казачьих портах с лампасами, а какой-нибудь Расул Гамзатов — в газырях и шароварах хана-главнокомандующего национальными формированиями. Твардовский в этой табели о рангах никак не ниже генерал-полковника.

Материальное обеспечение творчества, вопрос, на какие средства существует писатель, — тема, которая редко обсуждается в компендиумах истории литературы. Гораций получил в подарок поместье в Сабинских горах и мог не думать о гонораре; впрочем, в те времена гонораров не существовало. Тассо пользовался милостями феррарского двора, Гёте был министром герцога. Дела давно минувших дней. В XIX веке писатель ещё мог жить и содержать семью на литературные заработки, но уже Достоевский, преследуемый займодавцами, жаловался, что редактор платит ему меньше, чем Тургеневу, у которого вдобавок есть имение. Кафка, несмотря на сложные отношения с отцом — торговцем мануфактурой,

всю жизнь был вынужден пользоваться его поддержкой. Джойс, добровольный изгнанник, перебивался частными уроками, а русский эмигрант Гайто Газданов провёл четверть века за рулём ночного такси в Париже. После Второй мировой войны материальная база писательского труда была окончательно подорвана, и сегодня в западных странах прозаик, серьёзно работающий в литературе, — чаще всего бедняк и принужден постоянно искать средства для пропитания; о поэтах и говорить нечего.

Организованная литература радикально решила этот вопрос. На гонорар от книжки скромного объёма можно жить по меньшей мере год припеваючи. Как продаётся книга, раскупается ли она, не имеет значения, «бабки» выплачиваются, как только сочинение подписано к печати. Что касается стихотворцев, то один из испытанных способов недурно зарабатывать — переводы фантомных национальных поэтов.

Доходы растут с повышением чина. Никто никогда не решался осведомиться, сколько заколачивает генерал советской литературы — Михаил Алексеев, или Юрий Бондарев, или Сергей Михалков, мы называем первые пришедшие в голову имена. К окладу по должности в иерархии писательского Союза, окладу главного редактора одного из ведущих журналов, члена редколлегии, комиссий и т. п. присоединяются высокие гонорары. Продуманная система гонорарного вознаграждения предусматривает многократный барыш за публикацию одного и того же романа: в лично руководимом журнале, в трёхмиллионной «Роман-газете», в издательстве «Советский писатель», в областных издательствах, в серии

«Библиотека рабочего романа», в серии «Библиотека сибирского романа», в трёхтомнике «Избранное», в собрании сочинений... Публикации сопровождаются хвалебным хором критиков, намечается экранизация, маячит государственная премия. Как всякий вельможа в этой стране, живой классик организованной литературы пользуется бесчисленными поблажками и привилегиями, его жилищные условия, стол и гардероб сопоставимы с условиями жизни партийного бонзы, генерала КГБ или атомного академика.

Этот образ жизни, этот тип социального бытия порождает характерную кастовую психологию. Советские писатели образуют особого рода сословие, наподобие офицерского. Представителю организованной литературы не придёт в голову мысль о проблематичности его ремесла, как офицеру не придёт в голову спросить, для чего нужна армия. Писатель не спрашивает себя, зачем нужна литература, нужна ли она вообще. Он не сомневается в том, что привилегии, которыми оградил его от жестокой жизни заботливый Левиафан, естественны и справедливы.

Он твёрдо знает, что уж он-то нужен. Кому? Времена меняются, и, сообразив, наконец, что с режимом не всё в порядке, он уже не заявит, как некогда Маяковский, что сознательно предоставляет свое перо в услужение коммунистической партии и т. п. К концу 60-х годов организованному писателю становится неловко повторять слова Шолохова о том, что «наши сердца» принадлежат партии и, стало быть, мы пишем по велению сердца. Зато он охотно исповедует популистский миф. Этот миф баюкает его совесть.

Писатель пишет о народе и для народа. Народ ждёт от своего писателя произведений, нужных народу. Писатель вдохновляется любовью к родине, родина выше всего, он должен оставаться с ней, он обязан ей служить, другими словами, он должен во что бы то ни стало печататься. Вот основания этого мифа. Представитель либерального крыла официальной литературы говорит себе: нет, я не то, что эти партийные дубы и блюдолизы, я не желаю иметь с ними ничего общего. Он прав. И вместе с тем он как будто не замечает, что по-прежнему сидит на цепи, по-прежнему служит идеологии, которая давно уже отказалась и от пролетарского интернационализма, и от самого марксизма, превратившись в идеологию оголтелого государственного патриотизма.

В этой литературе — и в этой среде — серьёзный дискурс о современном искусстве, в сущности, невозможен. Философия творчества сведена к школьным прописям. Всякая сложность изгнана. Ирония и скепсис представляются зловредным западным изобретением. Писателю организованной литературы незнакома рефлексия, он убеждён, что она и не нужна. О такой литературе можно сказать, что она была самой простодушной литературой в мире и оттого самой лживой.

Разумеется, эта литература немыслима без того, без чего немыслимо и невозможно это государство, — без повсеместного присутствия тайной полиции. Без слежки и доносительства, без разветвлённого аппарата репрессий, без тайны, о которой все знают, без того, что известно каждому, но о чём никто не говорит.

Организованная литература не существует без своей нижней половины. Этот писатель, словно мифологический монстр, двуприроден: сверху тело человека, снизу нечто поросшее шерстью. Над трибуной возвышается дородная фигура литературного сановника в дорогом заграничном костюме, с планками орденов, со звездочкой лауреата; но загляните вниз — там хвост и копыта. Под светлыми залами и кулуарами дворца советской литературы расположены подвалы.

Что и говорить, по крайней мере со времён Радищева и Чаадаева русский писатель привык иметь дело с политическим сыском. Полицейское дело, гласный или негласный надзор — обычная история. Ничего подобного, однако, тому, что можно назвать брачным союзом литературы и «разведки», не существовало в старые времена. Речь идёт не только о грубом насилии, но о долголетнем сожительстве. Точнее, как это часто бывает в браке, насилие и сожительстве — две стороны одного и того же. Связь советской литературы с ведомством тайного террора выражается, в частности, и в том, что многие сотрудники этого ведомства сами являются писателями, а многие писатели — сотрудниками ведомства.

60

Тут мы рискуем вломиться в открытые двери, потому что об этом сказано и рассказано уже немало: что-нибудь около десяти процентов правды. Люди живы, и живы органы. Архивы могут ещё пригодиться.

То, что известно, относится главным образом к репрессиям сталинской поры. Все знают или хотя бы слышали о замученных писателях. Среди них было, увы, немало самых преданных и правозащитных.

В любом случае дело не обходилось без доносчиков, осведомителей, так называемых свидетелей и экспертов, и если репрессии носили массовый характер, массовым и повсеместным было и доношительство. Кто же эти люди?

Результаты работы комиссии Гаука, которая занималась расследованием деятельности бывшего министерства госбезопасности ГДР, могут служить материалом для сравнения. Каждый, кто знаком с документами *Stasi*⁴, может лишний раз убедиться в том, что это учреждение рабски следовало советскому образцу. Брак литературы и органов был таким же правилом в Восточной Германии, как в СССР. Процент писателей, состоявших на жаловании в качестве «неофициальных сотрудников», убийственен. Среди них — известные беллетристы, поэты, критики.

Едва ли мы узнаем о всех зубчатых колёсах, шкивах и приводных ремнях, соединивших тайную службу с организованной литературой. Кровавая гадина успела замести следы. Но невозможно усомниться в том, что по крайней мере в годы расцвета советской политической полиции преуспеяние именитых, увенчанных лаврами и осыпанных дарами представителей организованной литературы не могло состояться без заслуг перед секретным ведомством. И теперь мы спрашиваем себя: что нам делать с этой литературой?

61

Придёт следующее поколение и потребует отчёта. Что мы ответим?

Томас Манн писал в известном письме к Вальтеру фон Моло:

⁴ Штази — министерство госбезопасности ГДР.

«Это, может быть, суеверие, но у меня такое чувство, что книги, которые вообще могли быть напечатаны в Германии с 1933 по 1945 год, решительно ничего не стоят и лучше их не брать в руки. От них неотделим запах позора и крови, их следовало бы скопом пустить в макулатуру» (перевод С. Апта).

Небольшая глава, посвящённая Андре Жиду, в четвёртой книге мемуаров Ильи Григорьевича Эренбурга «Люди, годы, жизнь», популярность которых оставила позади не только художественную продукцию автора, но и всю беллетристику той поры, основана на личном знакомстве писателей. Было время, когда Жид горячо сочувствовал коммунизму и Советскому Союзу. На фотографии середины тридцатых годов он стоит на митинге в честь открытия улицы имени Максима Горького в парижском предместье Вильжюиф, с поднятым кулаком — ротфронт! Андре Жид был почётным участником прокоммунистического Парижского конгресса в защиту культуры летом 1935 года, удостоился там восторженной овации. В июне следующего года он выступал на траурном митинге памяти Горького в Москве, стоя на трибуне Мавзолея рядом с вождями — Сталиным и Молотовым. В СССР вышло собрание сочинений Андре Жида.

62

Всё кончилось в одночасье, после того как он опубликовал тоненькую книжку «Retour de l'URSS» («Возвращение из СССР»), ныне известную и в России. Автор был объявлен сволочью, наймитом реакционных сил, Лион Фейхтвангер заклеил предателя в гневной статье, сочинения Жида были изъяты из библиотек. О нём не рекомендовалось даже упоминать. Но Эренбург вспомнил, и чита-

тели мемуаров «Люди, годы, жизнь» были благодарны уже за то, что он осмелился это сделать.

Он вспомнил о нём через много лет, когда бывшего коммуниста давно не было в живых. «Я хочу попытаться спокойно задуматься над человеком, которого я встретил на своём жизненном пути». Итоги этого раздумья печальны; портрет, набросанный Эренбургом, не внушает симпатий. Андре Жид — легкомысленный, не заслуживающий ни доверия, ни уважения человек-мотылёк, грязноватый старик, писатель-эпигон, уже забытый, и справедливо забытый; ко всему прочему содомит.

Разумеется, Эренбург знал, что автор «Земных яств», «Имморалиста», «Тесных врат», «Фальшивомонетчиков», замечательного Дневника и так далее не только не забыт, но принадлежит к первому ряду писателей века. Знал и о том, что читатели в СССР не имеют возможности прочесть Андре Жида и составить о нём собственное мнение. Но, в конце концов, нет таких священных коров, которых я не имел бы права критиковать. Жид мне не нравится, прекрасно. Вот только одна странность: характеристика Жида трогательно совпадает с точкой зрения начальства.

Здесь говорилось о том, что литературу нужно оценивать по её рядовым, типичным образцам. В нашем случае это означает: по произведениям писателей-подражателей, писателей-рептилий, критиков-пасквильянтов, публицистов-фискалов, — имя им легион. Но с ними, собственно, всё ясно. Более тонкие механизмы организованной литературы, очевидно, следует изучать по книгам авторов другого уровня, по литературным документам, против на-

мерений писателя фиксирующим почти трагическую коллизию ума и таланта с глубокой несвободой, вошедшей в состав крови.

С какой неискренней искренностью, слегка наигранной исповедальностью, притворной наивностью написаны эти мемуары, с каким умением, якобы сказав всё, почти ничего не сказать. Я понимаю, что это впечатление — взгляд из сегодняшнего дня, а тогда — «попробовали бы вы...». Эренбург попробовал, и результат не замедлил сказаться: мемуары «проходили» с великим трудом, с мучительными испытаниями для автора.

Драгоценное дополнение к воспоминаниям «Люди, годы, жизнь» — ныне опубликованные письма Твардовского к Эренбургу о готовящихся к публикации в «Новом мире» главах. Деловые замечания Твардовского, дружеская помощь Твардовского, гнев Твардовского. Святая уверенность в том, что редактор может и должен указывать автору на его заблуждения, подсказывать седовласому мэтру правильные оценки, короче, быть его цензором. Вот это и есть главное — цензором не только по служебной обязанности контролирующего литературного чиновника, но и по убеждению.

Между тем времена смертельной опасности давно миновали. Что останавливало старого, уже охваченного предчувствием смерти писателя, что мешало ему плюнуть на всех цензоров и редакторов и написать о пережитом и увиденном всё, что он думал? Какой памятник он воздвиг бы времени и себе!

Глупый вопрос и глупое предположение. Он не мог написать свой *opus magnum*⁵ иначе. Он писал

⁵ Здесь: главная книга (лат.).

именно то, что думал: полуискренность давно стала его натурой, полуправда — творческим методом. А ведь речь идёт об одном из лучших, о человеке, за которым числится немало добрых дел. Но Эренбург хотел печататься у себя в стране, он был членом организованной литературы и хотел в ней оставаться. Как остался в ней и главный редактор.

Всё проходит; мы были свидетелями последних дней этой литературы. После истории с «Доктором Живаго», после того, как начался Самиздат и бег из страны, организованная литература только агонизировала. Её последней надеждой были писатели-пейзане, Белов и Распутин, так многообещающе начавшие и кончившие так скверно.

«Но ведь были и другие».

Были, разумеется. Нужно только вспомнить, что с ними случилось. Всё подлинное и талантливое неизбежно оказывалось на обочине, сбрасывалось в кювет, отторгалось как чуждое и вредоносное; в лучшем случае встречало глубокое непонимание.

Нам, однако, возражают, нам говорят: хватит копаться в старом белье, обвинять и разоблачать, и разжигать вражду, и сталкивать лбами писателей. Мы все — представители единой литературы, дети одной родины.

Парадокс в том, что требование побрататься с прошлым есть не что иное, как требование забыть прошлое.

Один из самых поразительных документов этой тенденции к всеобщему примирению — манифест литературной и политической реставрации — солидно изданный двухтомный био-библиографический словарь «Русские писатели. XX век» под редакцией Н. Н. Скатова. Это один из первых

опытов энциклопедии русской литературы нашего столетия, как указывает редакция (которая нигде не упомянула известный «Лексикон русской литературы XX века» Вольфганга Казака). Книга успела привлечь к себе внимание. Словарь выпущен издательством «Просвещение» в качестве пособия для учителей и учащихся старших классов и представляет более пятисот авторов.

О желании усадить всех в одну лодку свидетельствует большое количество дореволюционных и эмигрировавших писателей, не забыты и погибшие, расстрелянные, не вернувшиеся из лагерей, выскобленные из официальной литературы. И тут же, как ни в чём не бывало, как будто ничего не случилось, как будто не было десятилетий позора и крови, — «корифеи».

Можно расхохотаться — или заплакать, — читая тексты за подписью В. Шошина, Р. Шошина, П. Бекедина, Т. Вахитовой, Н. Грозновой, В. Чалмаева, посвящённые Георгию Маркову, Николаю Грибачёву, Анатолию Софронову, Всеволоду Кочетову, Сергею Михалкову, Михаилу Алексееву, Петру Проскурину, Александру Проханову, Ивану Стаднюку, Василию Лебедеву-Кумачу, Ванде Василевской и т. д. Все эти непристойные имена не просто упомянуты, но удостоены обширных панегирических статей, всё написано удручающе бездарно, образцовым советским языком: фанера из опилок. Всё — как в доброе старое время. Нет, я не предлагаю сдать этот скорбный труд в макулатуру. Я предлагаю его хранить и читать, — чтобы помнить о том, чем была великая советская литература.

Подвиг Искарриота

Дорогая! В который раз я убеждаюсь, насколько приятнее философствовать о литературе, чем писать самому; но, должно быть, вы уже сыты моими рассуждениями. Расскажу вам лучше историю из жизни.

Дело было давно, больше тридцати лет назад, в прекраснейшую пору, какая только бывает в Северо-Западной России: леса начали желтеть, густосинее небо и восхитительная тишина простёрлись над всем краем. И настроение, в котором я пребывал, только что приступив к исполнению служебных обязанностей, было, можно сказать, образцовым, таким, какое подобает новоиспечённому врачу. Я был полон рвения и энтузиазма. Прошлое было похерено, здесь никто не интересовался моим паспортом и анкетой, в этом медвежьем углу не существовало ни милиции, ни отдела кадров. Здесь я сам был начальством, я лечил больных, отдавал распоряжения медсёстрам и завхозу; председатель колхоза, исцелённый мною, прислал рабочих, которые ставили

столбы и тянули к больнице провода от районной электросети.

В старом армейском фургоне с красными крестами на стёклах я колесил по лесным просёлкам, по ухабистым дорогам моего участка размером с небольшое феодальное княжество. Выслушивал рассказы шофёра, который воевал в Германии и сделался своеобразным патриотом этой страны: по его словам, нигде не было таких замечательных дорог. В деревнях женщины выбегали навстречу, со мной подобострастно здоровались. Меня угощали салом и самогоном. Никому не могло прийти в голову, что ещё недавно вместо накрахмаленного халата я таскал лагерный бушлат.

По ночам я слышал бряканье колокольчика, под окном паслась стреноженная лошадь. Над елями стояла луна. Как вдруг всё переменялось, полил дождь. С клеёнки, которую придерживала над собой постучавшая в дверь молоденькая сестра, текла вода. Во тьме, прыгая через лужи, мы пересекли больничный двор, вошли в комнату с оцинкованной ванной, служившую приёмным покоем, навстречу поднялся человек в сапогах и брезентовом армяке, это был муж. На топчане, в тёплом платке, из-под которого виднелась косынка, лежала женщина, в забыты, без пульса, с синевато-острыми чертами лица, описанными две тысячи четыреста лет тому назад отцом медицины. Был второй час ночи.

В человеческом теле содержится шесть или семь литров крови, и удивляться приходится не тому, что это количество так невелико, а тому, что его может хватить надолго. Больную везли в телеге несколько часов. За несколько минут, пока мы её раздели и

внесли в операционную, натекла лужа крови. Облив руки спиртом, мысленно призывая на помощь моих учителей, я уселся на круглый табурет между ногами пациентки, сестра придвинула столик с инструментами и керосиновой лампой. Санитарка держала вторую лампу. Но мне было темно. Побежали за шофёром, в потоках дождя он подогнал к окну урчащую колымагу, и сияние фар залило белые колпаки женщин, забрызганное кровью покрывало и физиономию хирурга с кюреткой в правой руке и щипцами Мюзо в левой. Кровотечение прекратилось, но давление отсутствовало, тоны сердца не прослушивались. Всё ещё живой труп был перенесён в палату.

Тот, кто жил в глубинке, на дне нашего отечества, может оценить благоденствие и проклятие телефонной связи. Телефония подобна загробному царству или пространству коллективного сознания. Сидя в ординаторской с прижатой к уху эбонитовой раковиной, я выкрикивал своё имя и в ответ слышал шум океана. С дальнего берега едва различимый голос спросил, в чём дело. Я заорал, что мне нужна кровь. Прошло полвечности, голос вынырнул из тьмы и сообщил, что автомобиль выезжает. Фургон с немецким патриотом выехал навстречу, две машины должны были встретиться на половине пути. Дождь не унимался. Перед рассветом кровь, драгоценные ампулы для переливания были доставлены.

Пульс восстановился. Женщины наделены феноменальной живучестью. Она спала. Отчаянно зевая, я выбрался на свет Божий. Моросило. Муж стоял у крыльца возле своей лошади, накрытой брезентом, я подозвал его и спросил: кто это сделал? Он выпу-

чил на меня глаза и затряс головой: «Никто, она сама».

Первые эпизоды самостоятельной практики на всю жизнь остаются в памяти, но если я вспоминаю этот случай, не такой уж экстраординарный, то не ради медицинских подробностей. Я учинил следствие. Больная смотрела на меня с испутом. Для неё я тоже был начальством, с которым надо держать ухо востро. В конце концов я дознался: аборт сделала некая «баушка», жительница соседней деревни, по методу, известному с прадедовских времён, — вязальной спицей. За свои услуги ковырялка потребовала пятьдесят рублей. После этого я уселся в закутке, который назывался моим кабинетом, и начертал донос.

Кажется, до сих пор никто не занялся изучением статистики и типологии доносительства, а ведь тема, согласитесь, для нашего времени весьма актуальная. Существо доноса не меняется от его содержания и жанра; впрочем, этих жанров, как и любых форм и жанров словесного творчества, вообще говоря, не так много. Можно составить научную классификацию доносов, разделив их на политические, литературные, бытовые, доносы на вышестоящее начальство и доносы на подчинённых, доносы детей на родителей, учеников на своих наставников, супругов друг на друга и, наконец, доносы на сочинителей доносов.

Ученик Иисуса, тот, кто, говоря современным языком, настучал на Учителя, был, как рассказывают, настолько истерзан угрызениями совести, что в отчаянии швырнул подкупившим его тридцать денариев, немалую для того времени сумму, пошёл и удавился. В этой истории важно упоминание о гоно-

раре. Корыстное доносительство, будучи ничем не лучше идейного, всё же выглядит более постыдным.

Тема, как уже сказано, животрепещущая, не менее актуальная, чем в Римской империи I века, когда, как говорит Тацит, плата доносчикам равнялась их преступлениям. Мы жили с вами, дорогая, не в Риме. Мы жили в другой стране. В стране, где ни одно учреждение, ни один трудовой коллектив и никакая дружеская компания не обходились без тайного осведомителя. Можно предположить, что количество доносчиков в этой стране было, во всяком случае, не меньше количества заключённых. Представим себе (это уже, конечно, поэтическая фантазия) общее кладбище обитателей лагерей, площадью с автономную республику, что, впрочем, не так уж много по сравнению с размерами нашего государства. На каждом камне можно было бы вырезать рядом с именами усопших имя стукача. Или представим себе, какая доля государственного бюджета приходится на выплату пенсий бывшим резидентам-оперуполномоченным и их начальству. Но возвратимся к нашей теме (что за мания вечно отвлекаться!).

Упомянутую классификацию следует дополнить перечнем мотивов, которыми руководствуется доносчик. Очевидно, что к двум перечисленным — *убеждение* и *деньги* — нужно добавить, по крайней мере, ещё один: *страх*. Особый случай — доносительство *из любви к искусству*, мы оставим его в стороне. Я думаю, что типичный осведомитель советских времён, кем бы он ни был: предателем во имя коммунистических идеалов или просто продажной шкуркой, стукачом-карьеристом или обык-

новенным сексотом на зарплате, мелкой сошкой, рядовым тружеником, запуганным сыном врага народа или крупным осетром, полутрамотным пролетарием или бородатым писателем в кольчужном свитере а-ля Хемингуэй, с трубкой в зубах, профессором в академической ермолке или церковным иерархом, — кем бы он ни был, — в большей или меньшей степени оказывался добычей всеобщего страха. В этом отношении он ничем не отличался от доносчиков эпохи римского принципата. Страх водил пером потомков Искарриота, страх был общим знаменателем всех мотивов предательства: идейности, патриотизма, карьеризма, зависти, ревности. Думаете ли вы, что времена эти прошли бесследно, не оставив в душах людей отложений наподобие тех, которые сужают кровеносные сосуды?

Мы вернулись к медицине. На чём, стало быть, я остановился?... Существует ирония судьбы в истории народов и в жизни отдельного человека, и состоит она в том, что всё повторяется. У кого не было врагов, того губили друзья, замечает Тацит. Тем, что я когда-то провалился в люк, я был обязан закадычному другу студенческих лет. Теперь я сам постиг сладость доноса.

Разумеется, я докладывал — или «ставил в известность», как тогда выражались (заметьте, какая большая разница между этими выражениями: докладывать — акт формальный, между тем как ставить в известность значит действовать не по долгу службы, а по велению души), — так вот, я докладывал о случае криминального аборта у многодетной женщины, который едва не окончился смертью. Я доносил на невежественную, корыстную абортма-хершу, у которой, как выяснилось, существовала в

округе довольно многочисленная клиентура. Письмо предназначалось не для конторы, ведавшей доносами и доносчиками, но было всего лишь адресовано в районное отделение милиции. Тоже, впрочем, достаточно одиозный адресат... Незачем говорить и о том, что не страх руководил автором письма, при чём тут страх?

А что же тогда руководило? Благородное негодование? Психология доносительства — многогранная тема. В числе мотивов я не упомянул сладость мести, вдобавок безопасной. Тот не ведал наслаждения, кто её не испытал. Это было, как если бы, никем не видимый, я врезал кому-то там между рог (простите это полублатное речение), не боясь, что мне ответят тем же. Что стало с этой «баушкой», я не знаю. Кажется, её отпустили.

Дела давно минувших дней... Спокойной ночи, дорогая.

АЛГЕБРА И ФИЛОСОФИЯ ДЕТЕКТИВА

Дорогая, вы меня ошарашили. За кого вы меня принимаете? Мне хотелось ответить вам классической фразой: «Я честная девушка». Писатели, как и добродетельные девицы, дорожат своей репутацией и не опускаются до пошлых жанров.

Предполагается, что существуют жанры серьёзные и несерьёзные. Когда-то Зощенко говорил, что он пишет в неуважаемом жанре короткого рассказа. До сих пор, по крайней мере на Западе, издатель с кислой миной встречает предложение выпустить сборник новелл. «Ты бы лучше, дяденька, дал нам роман». — «А чем это хуже романа?» — «Ну, всё-таки...» — «Тогда, может, будем считать книжку романом в новеллах?» — «О, это другое дело».

74

Предполагается, далее, что низкий жанр — это что-то такое, что не требует от автора больших усилий: сел и написал. Вы предлагаете мне сочинить детектив.

(Заметьте, как изменилось значение этого слова: ещё сравнительно недавно под детективом подразумевали сыщика, а не рассказ о нём.)

Сделаю вам признание: я уже пробовал. И, представьте себе, убедился, что это совсем не так просто. Не хочу подробно распространяться о том, что из этого получилось, скажу только, что получилась скорее пародия на крими, другими словами, нечто такое, что рискует вызвать раздражение у потребителя обычных криминальных романов. Но что значит «обычный»? Польза от этого упражнения была, по крайней мере, та, что заставила меня задуматься над тем, что, собственно, представляет собой детективный жанр.

Недавно у нас тут с почётом проводили «на заслуженный отдых» (как говорили когда-то в России) любимца публики Хорста Таппера; телевидение посвятило ему целый вечер. Германия, как вы знаете, не блещет по части детективной литературы и детективного фильма. «Деррик» оказался исключением. За тридцать лет было снято умопомрачительное количество серий, обер-инспектор отдела убийств мюнхенской уголовной полиции успел состариться, пожалуй, чуточку облез и все-таки не утратил свой шарм и феноменальный нюх, а главное, принёс Второму немецкому телевидению (ZDF) огромный доход. Ни один немецкий сериал не пользовался такой популярностью внутри страны и во множестве стран, куда он был продан.

В чём дело? Рынок детективной литературы, как и рынок уголовно-приключенческого телевидения, переполнен; пробить себе дорогу на этом торжище трудней, чем во времена нашей молодости протолкаться на Тишинском рынке. На первый взгляд, персонаж по имени Штефан Деррик чрезвычайно банален.

За полтора века существования детективного жанра, гениального изобретения Эдгара По (напомню вам, что «Убийство на улице Морг» появилось в провинциальном журнальчике «Graham's Magazine» в апреле 1841 года), все мыслимые ситуации преступления оказываются уже использованными. В одном исследовании по систематике детектива, помещённом в парижском журнале «Ouvroir de littérature potentielle» (на него ссылается в работе «Абдукция в Укбаре» Умберто Эко), приведён список всех существующих вариантов убийцы. Преступник может быть слугой или дворецким в аристократическом доме (литературный предок такого слуги — Смердяков в доме Фёдора Павловича Карамазова), наследником, жаждущим завладеть страховым полисом, ревнивой женщиной, психопатом, киллером. Преступление может совершить повествователь или даже следователь, распутывающий дело; не хватает только, чтобы убил сам читатель.

Нетрудно было бы составить и каталог охотников за убийцами. Это может быть комиссар угрозыска, как Мегрэ в романах Жоржа Сименона; гениальный сыщик-любитель, эксцентрическая личность наподобие Огюста Дюпена в рассказе «Убийство на улице Морг»; Шерлок Холмс с его прославленным «дедуктивным методом» у Конан-Дойла; приторно-любезный щёголь Эркюль Пуаро у старой Агафьюшки — Агаты Кристи; пожилая респектабельная дама мисс Марпл у неё же; католический священник у Честертона; учёный знаток оккультной и каббалистической литературы в рассказе Борхеса «Смерть и буссоль»; средневековый монах в романе Эко «Имя розы». Каждый из них

представляет собой некий тип или, лучше сказать, пародию на то, что в учебниках истории литературы именуется литературным типом. Детектив может сидеть в тюремной камере, как дон Исидро Пароди в цикле новелл Бьоя Касареса и Хорхе Борхеса. Он может быть двумя персонажами или, наконец, компьютером, как в одном рассказе покойного писателя Якова Варшавского, где загадкой является не убийца, а детектив.

В телевизионном сериале «Деррик» выбран случай достаточно стереотипный: сыщик — полицейский комиссар. Мы видим коридоры мюнхенского полицейско-президиума, рабочий стол Деррика, за которым он, правда, проводит очень мало времени. Мелькают легко узнаваемые улицы, парадные площади или, напротив, глухие, безлюдные закоулки старого города.

По примеру литературоведов формальной школы, занимавшихся классификацией сюжетов (все сюжеты мировой литературы сводятся к небольшому числу простых формул), можно было бы предложить нечто вроде криминального исчисления, или алгебры детектива. Сыщик A разыскивает убийцу X . Намечаются разные решения. Своими соображениями A делится с другом или подчинённым B (Холмс с доктором Уотсоном, Деррик с младшим инспектором Клейном), при этом B выдвигает более или менее правдоподобных кандидатов из набора $X_1, X_2, X_3, \dots, X_n$. К этим предположениям склоняется и читатель, потому что B , собственно, и есть не кто иной, как читатель, перенесённый в пространство литературного повествования. Все версии рушатся одна за другой. Детектив A , более проницательный, чем и B , и читатель, находит решение, поражающее своей неожиданностью.

Все серии «Деррика» следуют одной из двух традиционных моделей криминального фильма: первая — вместе с полицейским инспектором мы ищем таинственного злодея, или вторая — зритель догадывается, кто убийца, и следит за тем, как гениальный детектив распутывает тайну. Каждая серия длится 55 минут. Соблюдено правило жанра: вам всегда сообщаются все факты, необходимые и достаточные для раскрытия тайны. Другое дело, если вы пропустили их мимо ушей.

Но чем же всё-таки очаровал зрителей — самых разных зрителей — знаменитый тандем, старший инспектор Деррик и его помощник Клейн? В фильмах участвуют высокоталантливые актёры, и каждый из них создаёт жизненно-убедительный образ за одну-две минуты (время дорого!). Фильм рождает иллюзию подлинной жизни. Оказывается, что жуткие события происходят здесь, рядом с вами, на соседних улицах. Вы можете оказаться по ходу действия в криминальном обществе, среди весьма крутых ребят. Но при этом вас избавят от жестоких сцен насилия, драк и пыток, от всякого рода натуралистических крайностей. Нет того, что называется action, головокружительных автомобильных гонок и т. п., вообще очень заметно желание дистанцироваться от американского стиля. И, наконец, сам Деррик.

Деррик — воплощение бургерской порядочности. Это не народный человек, в отличие от комиссара Мегрэ, и не аутсайдер, как незабвенный Огюст Дюпен; это джентльмен с безупречными, чуточку старомодными манерами, который говорит на хорошем немецком языке и умеет вести себя в любом обществе. Он одинок, все его интересы со-

средоточены вокруг его работы; он рыцарь справедливости. (Не правда ли, нам с вами трудно представить себе такие качества у милиционера или следователя в России.) При этом он достаточно трезв и понимает, что искоренить преступность невозможно; вдобавок он живёт в правовом государстве, где закон весьма чувствительно ограничивает деятельность полиции; подчас, разоблачив преступника, инспектор вынужден оставить его на свободе из-за отсутствия достаточных юридических доказательств вины. Деррик высок, статен, одет со вкусом, дорого и скромно. Деррик верит в существование единственной и окончательной истины — и добивается истины.

Дорогая, я прочёл вам — не имея на это, в сущности, никакого права — целую лекцию о детективном жанре. Но теперь мы дошли до существенного пункта. Это вопрос об истине.

Лет двадцать тому назад была опубликована новелла Джона Фаулза «Загадка» («The Enigma»), попала ли она вам? Неожиданно исчез депутат парламента сэра Джон Филдинг, подозревают, что убит. Следствие ведёт Нью-Скотленд-Ярд — никакого результата. Чтобы как-то закрыть тухлое дело, его сплавляют некоему Майку Дженнингсу, следователю на вторых ролях. Молодой следователь принимает нерутинные меры, ему удаётся напасть на след. Всё развивается как будто по канонам детективного повествования.

Задача Дженнингса — не столько выяснить обстоятельства предполагаемого убийства, сколько восстановить интимную жизнь сэра Джона, скрытую за респектабельным покровом. По ходу дела следователь знакомится с девушкой, близкой к се-

мье депутата. Это начинающая писательница, ее художественное воображение подсказывает следователю оригинальное решение. Необходимость отшлифовать версию заставляет молодых людей встретиться несколько раз в неофициальной обстановке, и вся история завершается поцелуями.

А как же член парламента? Если вы захвачены интригой, но не замечаете, что вас развлекают, это лучший признак, что детектив удался. Интрига несётся к разрешению загадки, как поезд к конечной станции, а тут? Тайна исчезновения Филдинга не то чтобы не раскрыта, но как-то перестаёт быть интересной. Истина, за которой охотится следствие, дезавуирована как таковая. Интрига несётся к неожиданной развязке, только неожиданность эта совсем не такова, какую предписывают каноны жанра. Ибо оказывается, что расследование было не поиском преступников, а поиском смысла жизни. Этот смысл — встреча мужчины и женщины, любовь.

Перед нами, разумеется, пародия, может быть, крайний случай пародии на криминальную повесть. Но вернёмся к «Деррику». Если говорить о его сценарии, тут мы имеем дело со стопроцентным тривиальным детективом, из которого умело сработан тривиальный телесериал. При этом сценарист и режиссёр отнюдь не собираются водить зрителя за нос. Даже если бы детективный фильм имел форму комедии, основы жанра не могут быть подвергнуты осмеянию. Принципиальная серьёзность остаётся его важнейшим свойством, как и свойством тривиального искусства вообще, будь то литература или кино.

Другая черта крими — конвенциональность. Подобно классической венской оперетте, подобно ита-

льянской комедии масок детективный роман неукоснительно следует канону, вот почему так легко и удобно строить «алгебру детектива», обнажая его проволочный каркас. Кодекс предписанных правил предъявляет жёсткие требования автору и в то же время поощряет его изобретательность: так иконопись стимулирует вдохновение живописца в тесном пространстве канона. Нарушение детективного канона вызывает внутренний протест у потребителя, воспринимается как художественный изъян. Само собой, канонический реквизит включает и вечно повторяющиеся мотивы, например, *the locked room mystery*, мотив, о котором вспоминает Хорхе Борхес в беседе с аргентинским журналистом Освальдо Феррари: злодеяние в комнате, таинственным образом запертой изнутри.

Вопрос: можно ли представить себе полноценное присутствие канонического детектива в заповеднике «настоящей», серьёзной литературы?

В конце концов, этот жанр успешно эксплуатировали не только авторы наподобие Александры Марининой. В конце концов — скажете вы — криминальным жанром не гнушались выдающиеся мастера.

Верно; однако мы только что с вами видели, что из этого получалось.

Дело выглядит так, что современному писателю, если он берётся за детектив, остаётся лишь пародировать классиков жанра: По, Честертона, Конан-Дойла, — или, лучше сказать, пародировать жанр.

К двум качествам «нормального» детектива (серьёзность и конвенциональность) я бы добавил ещё одно: детективный роман не должен ослеплять читателя совершенством стиля. Иначе он потеряет

читателя. Ведь вопрос о достоинствах крими невозможно отделить от вопроса, кто его потребитель. Заострив эту мысль, можно сказать: автор тривиального детектива не только имеет право, но и обязан писать плохо. Когда журнал «Неприкосновенный запас» (приложение к «Новому литературному обозрению») устроил обсуждение творчества Марининой, один из участников, Борис Дубин, заметил, что в пятнадцати романах он сумел найти два более или менее живых выражения. Дело, однако, не только в языке или стиле.

Если бы вы предложили мне сформулировать в самом кратком виде философию детективного романа, я ответил бы, что это — философия *единой и единственной истины*. Сыщик разгадывает тайну, следить за его поисками доставляет читателям или зрителям тем больше удовольствия, чем меньше он пользуется ухищрениями техники и чем ярче демонстрирует пронизательность своего ума, умение нешаблонно мыслить и дар внезапного прозрения. Гениальный сыщик, будь то вполне серьёзный Холмс или довольно пародийный дон Исидро, обходится без всякого технического оснащения. Он раскрывает преступление, другими словами, постигает истину. В детективном повествовании существует презумпция истины. Сыщик не может ответить неопределённо: «убийца — это либо X_1 , либо X_2 »; «преступление могло состояться, а могло и не состояться». Ибо истина только одна. Эта истина столь же «объективна» и столь же принудительна, как в точных науках. Читатель (зритель) ждёт определённый ответ и получает его.

Между тем с истиной в современной литературе дело обстоит не так просто. Мир миметического (в

России предпочитали говорить — реалистическо-го) романа XIX века предстаёт таким, каков он есть «на самом деле»; никаких сомнений в его аутентичности не может быть. Романист в этом мире, если повторить знаменитую фразу Флобера, — то же, что Бог в природе: он везде, но его никто не видит; и, подобно Богу, романист всеведущ. Он читает во всех сердцах. Ему доступна вся полнота истины. Читатель принимает эту конвенцию как нечто само собой разумеющееся, вслед за автором он верит в то, что существует некая единообразно читаемая версия действительности, окончательная истина, эту истину возвещает художник. Анна Каренина не знает о существовании Толстого, но Толстой об Анне знает всё, и нет оснований сомневаться в достоверности его знания.

После грандиозной литературной революции, начало которой, как я думаю, положил Достоевский, концепция всеведущего автора пошатнулась. Не стану углубляться в эти материи, скажу только, что новая литература — это уже не возвешение абсолютной истины, это литература версий. Писатель знает, что действительность зыбка и неоднозначна, что в жизни всё происходит и так, и не так, что вопреки формальной логике А может быть не равно А.

На этом фоне серьёзный, то есть написанный с самыми лучшими намерениями, детективный роман выглядит несерьёзно. Сколько бы ни старался сочинитель сделать его современным, актуальным, модерным, шикарным, суперамериканизированным, это литература архаическая, пахнущая нафталином; литература, с точки зрения поэтики, эпигон-

ская и глубоко ретроградная. Её можно только «обыгрывать», пародировать, как некогда автор «Дон-Кихота» пародировал антикварный рыцарский роман.

Выходит, серьёзный детектив вовсе не имеет права на существование? Но вся массовая культура питается объедками былых пиров — крохами с высокого стола, который вдобавок давно уже покинут сотрапезниками. Если быть последовательным, пришлось бы потребовать выкинуть на помойку вместе с детективным романом 98 процентов всей литературной и кинематографической продукции развитых стран.

Дорогая, будьте здоровы. Прочтите на сон грядущий какой-нибудь рассказ Борхеса, Рекса Стаута или на худой конец доброго старого Конан-Дойла. До следующего раза.

Кризис эротики

Один хасидский мудрец сказал: от Иерусалима до нас рукой подать, а от нас до Иерусалима — как до звёзд. Трудно представить себе, дорогая, что вы живёте так далеко. Я летел к вам целую бесконечность. Зато возвращение в сморщенном времени над океаном, по которому Магеллан плыл три месяца, ночь длиной в полтора часа в неподвижном рокочущем самолёте навстречу европейскому солнцу, почти избегающему над чёрным пологом облаков, даёт почувствовать то, что прежде могла передать только литература: сюрреализм действительности.

Я думаю об истории, которую вы мне рассказали. Тридцатипятилетняя мать семейства, учительница в провинциальном городке, вступила в связь с учеником, 14-летним подростком, родила от него; дело открылось, родители мальчика возбудили судебное дело, у неё отняли ребёнка, отобрали других детей, от неё отрёкся муж, её выгнали с работы и упекли в тюрьму.

Вы сказали: вот вам сюжет. Поставьте себя на место этой женщины или даже на место этого подростка, придумайте подробности. На то вы и писатель. Представьте себе, сказали вы, что-нибудь вроде дамского клуба. Участницы собираются дважды в месяц, пьют чай с домашним печеньем и рассказывают друг другу историю своей первой любви. Вас пригласили, вы единственный мужчина в этой компании, ваша очередь выступить с исповедью. Вы рассказываете о своём первом романе, о романе подростка и взрослой женщины.

Дорогая, я не справлюсь с этим сюжетом. Не потому, что тема скользкая, и не оттого, что мне не хватает фантазии. Трудность в другом, в омертвлении языка.

Сегодня мы пожимаем плечами, читая о скандале, который разыгрался вокруг неслыханно откровенного романа Фридриха Шлегеля «Люцинда» два века тому назад. Знаменитые нашумевшие процессы над Флобером, Бодлером, над автором «Любовника леди Чаттерли» Д. Г. Лоуренсом кажутся недоумением. С Джойса сняты наручники. Выпущен на свободу через 185 лет после смерти в психиатрическом заточении «божественный маркиз» де Сад. Книги Жоржа Батая признаны доброкачественной литературой, о них написаны солидные труды. Лишился пикантности апостол секса Генри Миллер вместе с Анаис Нин, его эмансипированной ученицей, не говоря уже о многочисленных подражателях. Выяснилось, что сочинять порнографическую литературу, вообще говоря, не так трудно. Сколько шума ещё совсем недавно наделал в русской эмиграции жалкий «Эдичка»! Такие романы можно печь, как оладьи.

Никакая прежняя эпоха не могла похвастать такой армией похабнейших писателей, лишив их одновременно ореола недозволенности. Никакая эпоха не располагала такими возможностями тиражирования эротических текстов, никакое общество не могло помыслить о таких масштабах коммерциализации пола. То, что ещё недавно могло казаться реакцией на ханжество предшествующей эпохи, восстанием против буржуазного или коммунистического лицемерия, стало рутинной массовой потребительской культурой.

Я не собираюсь обсуждать критерии порнографической словесности, ведь давно уже замечено, что как только удаётся провести более или менее чёткие границы между «порно» и настоящей литературой, появляется произведение, которое их стирает. Будем довольствоваться тем, что у каждого из нас существует представление о талантливой прозе и о пошлятине. Важней другое: исчерпанность эротического словаря, банальность «сексухи», инфляция и скука и ощущение, что кроме физиологии и хулиганства у нас ничего не осталось.

Времена, когда об «этом» достаточно было сообщить обиняками, когда романист, доведя влюблённых до дверей спальни, почтительно откланивался, прошли; приходится договаривать всё до конца, и совершенно так же, как в XVIII, в XIX веке роман без любовной интриги — не роман, так в наше время кино не может обойтись без голого тела и проза — не проза, если в ней не нашлось места хотя бы для одной откровенной сцены. Мы имеем дело с литературной конвенцией, вывернутой наизнанку. Автор вынужден раздевать своих героинь. Он вынужден выдавать читателям положенное. Как

это сделать, если всё уже сказано и показано? Физические проявления любви не отличаются разнообразием, и литература, которая на Западе называется миметической, а в России — реалистической, зашла в тупик, где встретилась с другим неудачником — натуралистической кинематографией.

Вульгарность была последней отчаянной попыткой реанимировать язык. Надолго ли её хватило?

С художественной истиной дело обстоит совершенно так же, как с женщиной, — это старое уподобление не вызовет у вас протеста, я полагаю. Природа истины такова, что ей подобает игра с покрывалом. Истина может поразить, лишь явившись полуодетой. Больше того, лишь до тех пор она и остаётся истиной. Подобно тому, как эротично не голое тело, а способы его сокрытия, прямая речь бьёт мимо цели. Это и есть та самая «неправда правды», о которой говорит философ, ставший модным в России, — Жак Деррида (в трактате «Шпорь»). И получается, что для того, чтобы восстановить таинственное очарование наготы, ничего другого не остаётся, как захлопнуть книжку. Таким образом, приходится признать, что пропали даром колоссальные усилия, потраченные в своё время на то, чтобы разрушить заборы, которые воздвигло ханжество. Оставшись безо всего, раздетая догола, растабуированная эротика сбежала. Заколдованный замок, как замок графа Вествествест, недостижим, хотя бы нам на мгновение и показалось, что мы уже там.

И всё-таки мы с вами единомышленны в том, что любовь и пол остаются — скажем так — предметом, заслуживающим внимания. Альков, говорил

Толстой, всегда будет главной темой литературы. По правде говоря, только о любви и стоит писать. И, может быть, писатели русского языка на короткое время оказались в более выгодном положении, чем писатели Запада: для россиян известные темы ещё не стали рутиной.

Обратите внимание на то, что эротика в советской литературе, в советском искусстве вообще по крайней мере с середины 30-х годов была репрессирована так же последовательно, как и политическое инакомыслие; эротика стала второй крамолой. В идеальном согласии с древней как мир мифологией верха и низа (верхняя половина тела — местонахождение возвышенных начал, низ низменен, то есть постыден и неблагороден; и герой может умереть от раны в голову, от лёгочного туберкулёза или от разрыва сердца, но не от дизентерии или рака прямой кишки) персонажи этого искусства могли влюбляться, страдать или возбуждать ответное чувство, но спать в одной постели — упаси Бог. Существуют работы о самодеятельной графике на стенах общественных зданий (graffiti), но, кажется, никому ещё не приходило в голову исследовать надписи и рисунки в отхожих местах. Никто не догадался собирать эти памятники традиционного народного творчества, а между тем заборная письменность с её жанрами и своеобразными достижениями представляла собой некое дополнение к высоконравственной официальной литературе и графике. Скажем так: это было её бессознательное. Потому что эстетика социалистического реализма несводима к идеологии; её тайная психологическая подоплёка — порнографическое воображение.

Итак, на чём мы остановились? Эротизм современной литературы — не просто дань моде, если

это мода, то она длится, по меньшей мере, три тысячи лет. Вообще вопрос уже давно не в том, как далеко мы можем переступить «приличия». Вопрос — если вернуться к нашему разговору — в том, удалось бы мне рассказать историю любви подростка к зрелой женщине так, чтобы там было сказано «всё» и вместе с тем — нечто другое.

«Первый поцелуй — начало философии», фраза из фрагментов Новалиса. Сенсация, потрясшая европейское общество три четверти века тому назад, когда было во всеуслышание объявлено, что невинный ребёнок есть сексуальное существо и что чуть ли не все движения человеческой души могут быть редуцированы к полу, заряжены полом, — эта сенсация не то чтобы опровергнута, но отцвела; стороны уравнения можно переставить местами; сексуальность сама выступает в качестве универсального знака, и язык подхватывает эту двусмысленность, лучше сказать — язык навязывает нам свою двусмысленность, язык осциллирует. И это то, что я больше всего ценю в литературе. Может быть, истинное отличие порнографической словесности от непорнографической состоит в том, что порнография представляет собой вырождение языка в код. Порнограмма может быть прочитана лишь одним-единственным способом. В порнографическом романе, как и в порнографическом кинофильме, всё есть как есть и всё происходит как оно происходит. Пожалуй, единственная художественная вольность, единственное отступление от «действительности» — фантастическая неумолимость партнёров.

Порнография девственно наивна. Порнография однозначна. Вот то, что противоречит природе ро-

мана, который не знает, что хочет, допускает бесчисленное множество интерпретаций и, в конечном счёте, уходит, ускользает от всякой интерпретации. В этом состоит источник бесконечных недоразумений между романистом и его критиками и читателями, всегда склонными вкладывать в книгу неожиданный для его создателя и притом единственный смысл. Автор порнографических произведений не имеет оснований жаловаться на непонимание: у него никогда не бывает недоразумений с читателем.

Язык истины, уловить которую так же трудно, как поймать в невод русалку, единственно возможный язык, который нам придётся отыскивать заново, — откровенно-прикровенен. Это язык чувственный и философский, метафорически двусмысленный, бесстрашно-уклончивый, язык, который осциллирует, как луч между зеркалами, это речь об этом и одновременно о другом. До свидания, дорогая, я чувствую, что никогда не смогу поставить точку, — adieu!

Возвращение Агасфера

Не знаю, как вы отнесётесь к этому письму, моя дорогая. Я хочу говорить о Катастрофе. Невежественные журналисты заменили это слово другим, отвратительно звучащим для русского уха, — «холокост». Вычитали его из американских газет, никогда не слыхав об эллинистическом наследии русского языка, не зная и о том, что в нашем языке давно существует слово *голокауст*, непосредственно пришедшее к нам из Греции, воспроизводящее античное произношение и античный смысл. Буквально оно означает «всесожжение». Я хочу говорить о Голокаусте. И начну с одной довольно странной истории.

92

История эта случилась давно. Знаменитый философ, астролог и маг Агриппа Неттесгеймский сидел в своём кабинете, когда стукнула дверь и вошёл странник. Хозяин принял его за нищего. Но тот отказался от подаяния. Он рассказал, что с ним произошло. Некогда, живя в Иерусалиме, он занимался сапожным ремеслом. Однажды он услышал шум на

улице, — измождённый человек тащил огромный брус с перекладной, вокруг и следом шла толпа. Одни смеялись, другие сочувствовали. Человек этот выдавал себя за Мессию. Он объявил себя царём и был приговорён к смерти. Он попросил сапожника помочь ему донести брус до места казни. «Много вас таких, — ответил сапожник, — пошёл вон...» «Хорошо, Я пойду, — сказал человек с крестом, — но и ты будешь ходить, куда Я не вернусь». И с того дня сапожник по имени Агасфер как вышел из своего дома, так с тех пор и бродит, — и прошло уже пятнадцать столетий.

«Что тебе надо?» — спросил Агриппа. Старец объяснил, что он много слышал о чудесном искусстве предсказаний, которым владеет Агриппа. «Мало ли что говорят», — заметил учёный. «А это? — возразил Агасфер и ткнул корявым пальцем в угол, где стояло некое сооружение из двух зеркал с подвешенным кристаллом. — Я хочу знать, когда Он вернётся. Когда кончатся мои скитания. Ты один можешь показать мне будущее, — умоляю, сделай это!»

Напрасно Агриппа предостерегал гостя против опасного эксперимента, — ведь увидеть будущее значит не только перенестись на мгновение в другое время, но и жить в другом времени, и никто не знает, способен ли человек вынести это. «А чего мне бояться, — возразил Вечный Жид, — мне терять нечего». Чародей уступил его просьбам, усадил гостя между зеркалами, прочёл молитву или заклинание. Кристалл ожил, затеплился жёлтым светом, Агасфер увидел своё отражение, бесконечно повторённое в зеркальных далях, за его спиной было прошлое, спереди надвигалось будущее, приближалась желанная смерть. Вернувшись, он не мог понять, сколько

времени он находился в другом времени, — ибо там время текло иначе. Чародей стоял перед ним, ожидая услышать его рассказ. Но странник не сразу собрался с мыслями.

Он стоял в длинной очереди перед приземистым зданием с кирпичной трубой, из трубы валил чёрный дым. Охранники подгоняли людей — здесь были мужчины, женщины с младенцами на руках, юные девушки, древние старики и согбенные старухи. И вместе с ними, вместе с Агасфером стоял в очереди Тот, кого он когда-то прогнал от своего крыльца.

«Этого не может быть, — вскричал Агриппа, — ты уверен, что это был Он? Он не может умереть!» «Я тоже думал, — сказал старик, — что никогда не умру». — «Но Он — Сын Божий!» — «Это вы так думаете, — возразил Агасфер. — Он сын нашего народа». — «И стражники не пали перед Ним ниц?» — «С чего бы это. У них другие заботы...» Вечный Жид задумался, теперь он знал, чем всё кончится. Он стал просить хозяина послать его туда снова. Опыт был повторён, но на этот раз Агасфер уже не вернулся, он сгорел в печах вместе со всеми и с Тем, кто сказал: «Будешь скитаться, доколе Я не приду во второй раз».

Вы догадались, что я просто пересказал вам рассказ, придуманный мною когда-то. Правда, Агриппа фон Неттесгейм — лицо историческое, о нём можно прочесть в энциклопедическом словаре. Брюсов сделал его персонажем романа «Огненный ангел». Что же касается легенды о вечном скитальце, то меня поразило одно обстоятельство.

Легенда, известная во множестве вариантов, носит довольно отчётливый антисемитский характер. Некий жестокосердный иудей осуждён вечно

бродить среди чужих народов, и поделом ему — ведь он отвернулся от Христа на его крестном пути. Вечный Жид, олицетворение еврейского народа, осуждён самим Христом. Но, заметьте, он единственный из живущих на земле, кто своими глазами видел Христа, единственный, кто может свидетельствовать о нём. Много столетий подряд христианство было непримиримым врагом еврейства, сеяло недоверие и ненависть к евреям. Все христианские церкви несут свою долю вины за гонения и погромы, за то, что происходило в Средние века, и за то, что случилось в нашем веке. И вместе с тем христианство приросло к своему антагонисту, как сук к дереву. Христианство исторически отпочковалось от иудаизма, авторы и персонажи Нового Завета — евреи, и народ этот каким-то чудом сохранился, пережил Священную историю и просто историю.

Странник (я возвращаюсь к моему рассказу), явившийся к учёному немцу XVI столетия, чтобы узнать, сколько ему ещё осталось бродить, представляет собой, так сказать, отрицательный полюс истины. Агриппа — христианин, для него смерть Спасителя — абсурд. Агасфер — еврей, бывший житель Иерусалима, на его глазах происходила казнь Христа, Иисус для него только человек, ложный Мессия, каких было немало. По логике этого взгляда, Христос, если бы он явился в эпоху Голокауста, должен был бы разделить судьбу шести миллионов отравленных газом и сожжённых в печах. Христос выполнил своё обещание, он явился во второй раз, и когда же? — когда его соплеменники стоят в очереди перед газовой камерой. Он не может выйти из очереди, это значило бы предать обречённых. А для эсэсовцев он просто жид — как все.

Вместе с евреями погибает и христианство.

Вы скажете: но это твоя фантазия! Верно. И... не совсем фантазия. Вы скажете — христианство отнюдь не сгнуло. Христианство и сегодня могучая сила в мире. Вдобавок оно «учло свои ошибки». Ватикан в специальном документе официально реабилитировал евреев, больше не надо считать их виновными в том, что Спаситель был предан казни.

Я отвечу: спасибо. Хотя неясно, реабилитирована ли таким образом и римская церковь.

Но это Ватикан. Зато в книгах, которые выходят сегодня в Москве с благословения патриарха, в учебных пособиях по Священной истории вы по-прежнему можете прочесть, что толпа, собравшаяся перед дворцом наместника, кричала: «Распни Его!» — так повествует Евангелие, — и что «кровь Его на нас и детях наших», и так далее, и что, дескать, вся дальнейшая история еврейства, его горестная судьба была следствием того, что этот народ запятнал себя убийством Христа. Сами виноваты! О том, что евангельский рассказ исторически неправдоподобен, что невозможно представить себе, чтобы римский наместник советовался с толпой, как ему поступить, наконец, о сомнительности самой этой фразы насчёт «нас» и наших детей — ни слова.

96 А главное, ни тени сознания того, что вся эта контроверза — распяли, не распяли — после Освенцима должна быть закрыта, вся эта «тематика» должна быть выкинута на свалку.

При исследовании останков последнего русского императора и его семьи церковью был «поставлен вопрос», не имело ли место ритуальное убийство. Тем, кто дал ответ на этот вопрос (слава Богу, отрицательный), как и тем, кто его задал, не пришло в голову, что сам вопрос постыден.

Если *такое* христианство забыло о том, что произошло в нашем веке и на глазах у ныне живущего поколения, если это христианство не хочет ничего знать о печах Освенцима, если оно думает, что может остаться прежним христианством — как будто в мире ничего не произошло, — значит, оно в самом деле мертво. Значит, оно убито вместе с жертвами в тех же самых печах.

Дорогая. Я чувствую, что вы готовы прервать меня. Освенцим, Голокауст... Но ведь это же было *там*, это были немцы, нацисты, пусть их дети и внуки сводят счёты с прошлым, — а у нас тут достаточно своих проблем. И, в конце концов, почему мы обязаны вечно заниматься евреями. Возможно, вы нашли бы другие выражения, но ведь именно так вы подумали, не правда ли.

Я не знаю, что вам ответить, такая аргументация ставит меня в тупик. Видите ли, мне всё кажется, что тот, кто думает: не наше дело и не наша забота, — попросту не хочет понять, о чём идёт речь. К несчастью, именно так обстоит дело в России. Сведения о Катастрофе слишком поздно проникли в Советский Союз, слишком скудно освещались в стране, где государственная цензура и народное предубеждение систематически отсекали всё, что касалось евреев, — самое слово «еврей», как вы по-

ших писателей, не исключая, увы, самого знаменитого и заслуженного, — если бы это было не так, он не решился бы петь хвалы национализму и национальным добродетелям, не осмелился бы взять под защиту непристойные высказывания писателей-деревенщиков и т. п., не был бы настолько наивен, чтобы уверять себя и других, что не имеют никакого отношения к антисемитизму декларации «национального самосознания», каким оно выглядит в действительности, а не в розовых романтических мечтах. Он был бы, по крайней мере, трезвей и осторожней, если бы помнил о том, что мы живём после Освенцима.

Да, мы живём после Освенцима, и дым печей спустя полвека вызывает у нас приступы удушья. Мы — астматики Освенцима. Мы его вольноотпущенники, нам удалось ускользнуть от газовых камер, мы остались в живых. Но мы не освободились от Освенцима, и с этим ничего невозможно поделать, разве только помнить о том, что многое, очень многое должно быть, по меньшей мере, пересмотрено, продумано заново и что эта работа у нас на родине даже ещё и не началась. Нельзя, непозволительно после Освенцима вести благодушные разговоры о том, что, конечно, расизм вещь нехорошая, но ведь и Достоевский, и Розанов были не совсем не правы. Нельзя больше вести разговоры о Боге и о евреях, о России и о православии так, как они велись сто лет назад. Нельзя думать, что Освенцим — это проблема евреев, или проблема немцев, или ещё чья-нибудь, только не наша. Нельзя забывать, что антисемитизм — это всечеловеческая школа зла, и не зря многовековое обучение в этой школе завершилось газовыми камерами и печами. Дорогая, не сердитесь на меня, и — всего вам доброго.

Город и сны

...Entends la douce nuit qui marche.

Baudelaire⁶

Дорогая, будем говорить о городе. Значит ли это (по крайней мере, такая мысль может у вас мелькнуть), что я хочу говорить о вас? Города женственны, записал однажды Эрнст Юнгер, и благосклонны к победителю. (Это напоминает фразу Наполеона: «Город, занятый неприятелем, подобен барышне, потерявшей невинность».) В другом месте автор «Второго парижского дневника» называет воздушный налёт на город смертельным оплодотворением. Слово «город» в нашем языке мужского рода, это мешает отождествить город с распростёртой женщиной, но бомбардировки я вспомнил не зря.

99

Город затягивает, засасывает. В городе надо учиться не умению находить дорогу, а умению заблудиться, говорит Беньямин. И добавляет: «Я поздно научился этому искусству». Город огромен, неисследим. Даже там, где незачем приста-

⁶ ...Слушай мягкую поступь ночи. Бодлер. «Цветы зла» (франц.).

вать к прохожим с вопросами, где всё исхожено и знакомо, вдруг окажется неизвестная улица, а там переулки, дворы, тупики, строительные площадки, и уже не знаешь, куда ты попал. Указатели никуда не приводят, таблички с названиями улиц — словно на незнакомом языке.

Город меняет метрику пространства, и вы согласитесь со мной, что полтора шагов в городе и в деревне — не одно и то же. Город меняет отношение времени к пространству; плотность истории на единицу географии растёт по мере того, как вы приближаетесь к центру; город — это победа истории над географией. Город своевольничает с календарём. Вот, например, смешно сказать, проспект 31 Апреля. Неужели какой-нибудь шалопай дописал тройку? Вы озираетесь и замечаете фигуру в шляпе грибом с петушиным пёрышком, толстый багроволицый мужик выглядывает из-под арки двора. «Послушайте, какой же это проспект? Его и улицей не назовёшь». — «А ты откуда такой взялся». — «Да так... гуляю». — «Ну и гуляй дальше».

Несколько шагов погодя вы спохватываетесь, человек стоит, словно ждёт вас. «Простите... а что это за странная дата?» — «Какая ещё дата?» — «Да вот эта». — «Погляди в календарь и узнаешь». — «Да ведь нет в календаре такого дня». — «А это смотря в каком. Календари тоже бывают разные».

Всё же интересно: кто сочиняет эти названия? Вы погружаетесь в грёзы о сказочном королевстве, где 31 апреля — национальный день.

Это может быть день торжества или траура.

День памяти о чём-то, чего, может быть, ни-

когда не было, день, когда кончилось доброе старое время. Немолодой дебелый монарх прогуливался после завтрака в Придворном саду, куда никому не возбранялось входить, такое это было время. У короля было розовое лицо с красными прожилками, он был в тёмно-зелёной куртке добротного сукна, в просторных кожаных штанах до колен, на голове — грибовидная шляпа с петушьим пером. Посреди клумбы копался рабочий с совком и лопатой. «А что там за шум?» — спросил король. Садовник прислушался и сказал, что это восстали народные массы. «Какие массы? — спросил король, он слышал это выражение впервые. — Массы — это вот то, что ты поднимаешь лопатой». «Ваше величество, — сказал садовник, — вам бы лучше идти домой. Видите, какая пошла заварушка». Старик пожал плечами. Вечером он покинул страну. Народ утирал слёзы, провожая карету с последним отпрыском восьмисотлетней династии, революция учредила новое правописание, укоротила женские платья, повысила цены на пиво и реформировала календарь.

Далеко от центра, на северо-востоке — но ведь и стороны света в городе не то, что вне его пределов, — за длинными унылыми корпусами социальных квартир прячется тихая и зелёная, вся заставленная машинами улочка короля Генриха Птицелова. Это ещё кто такой?

101

Прелестная девочка лет десяти подошла к калитке.

«Король».

«Вижу, что король, но почему он так называется?»

«Потому что он любил птиц».

«Зачем же он их ловил?»

«Он их ловил и слушал их пение. Он сидел под дубом, и перед ним стояла большая клетка. В это время к нему привели принцессу Эльзу Брабантскую. Её обвинили в страшном преступлении. И было трудно разобраться. Но тут появился лебедь. Он был запряжён в золотую ладью, а в ладье стоял светлый рыцарь Лоэнгрин».

«Ты учишься музыке?»

«Я ещё не решила. Я хочу быть певицей и дирижёром».

А я бы хотел дожждаться, когда ты вырастешь, чтобы жениться на тебе, думал я, шагая по улице короля-орнитолога, которая вывела меня на совсем уже глухую окраину, — это была улица гнусного обидчика Тельрамунда. А там пошли другие переулки, тенистый просёлок был улицей Грааля, скромный пяточок именовался площадью Тангейзера; сплошной Вагнер.

И я подумал, что мог бы успеть на спектакль, и с этого, собственно, всё началось. Правда, я не был одет как положено, но увидел конечную остановку и побежал к автобусу, махая руками. Экипаж трясся вдоль неведомых улиц, мимо остановок, где никого не было, сворачивал, петлял, оставляя позади огни светофоров. Машина времени. Странствуя по городу, вы листаете книгу веков.

Эта книга бессмертна, по крайней мере, так казалось ещё полвека назад. Прошло полвека с тех пор, как фолиант сгорел до последней страницы. Армия победителей вошла в город. Стояла мёртвая тишина, раздавался только лязг машин. Дело было в апреле — не 31-го ли числа? Город мог напомнить времена Тридцатилетней войны, но

триста лет назад не было бомбардировочной авиации. Город разлепил веки и увидел, что его больше нет. Стены домов, провалы окон, — осколки гигантского черепа, под которыми всё ещё пульсировал его раскромсанный мозг. С тех пор город слегка безумен.

С трезубой звездой на брюхе, сверкая стёклами в вечерних лучах, рыдван времени делает разворот, мы вернулись в нашу благословенную эпоху, в «город», как везде и всюду называют центр. Смотрите-ка, он жив и цел, как ни в чём не бывало. Бронзовые львы у ворот королевской резиденции подставляют блестящие носы — коснитесь их мимоходом, это приносит счастье. Дамы в кондитерской склоняют лиловые причёски над чашами с мороженым, девушки лакомятся пирожными, которые называются «укус пчелы», матери с ложки кормят детей. Дети и девушки лишены памяти.

И я уже угадывал встающий из-за фасадов и крыш двойной двускатный портал театра с надписью над колоннами тусклым золотом: гимназическая латынь, которую никто не в состоянии прочесть. «*Apollini musisque redditum*». «Возвращено Аполлону и музам». Бог искусств, как известно, был ближневосточного происхождения, без сомнения, с примесью семитской крови. Не зря он подыгрывал троянцам против арийцев-греков. Вот и пришлось, через три с лишком тысячелетия, уйти в изгнание, отсиживаться со своим гаремом где-то в Калифорнии, пока город горел и рушился, как некогда Илион. Представим себе судебный процесс, на котором вернувшийся после войны бог-эмигрант сумел добиться возвращения собственности.

Театр выходит фасадом на площадь, посреди которой в каменном кресле восседает монарх, кассы помещаются за углом. Кассы были закрыты. Швейцар, в фуражке, с бляхой на мундире, стоял за стеклянной дверью. Я спросил: «Разве уже началось?» — «Что началось?» — «Опера». — «Какая опера? Ничего не знаю». Почти трогательная тупость этих людей.

«Как это вы не знаете, кто же тогда знает?»

«Ничего не знаю».

«Спектакль отменён? Почему нет объявления?»

День закатился, и огромное густо-синее небо распахнулось над городом, вдоль всей нарядной улицы сияли вывески и витрины, далеко впереди в призрачно-жёлтом освещении за мостом угадывался дворец земельного парламента. Я перешёл на другую сторону улицы, не зная, куда себя деть, отсюда были видны окна верхнего этажа, там горел свет.

Должно быть, там помещались костюмерные или сидела администрация; актёры, покинув сцену, продолжали выяснять отношения. «Не знаете ли вы... — пробормотал я. — Что там такое?» Сзади старушечий голос ответил: «Там убивают».

Она добавила:

«Бежит. Небось не убежишь!»

«Может, репетируют?»

«Ну что вы, репетируют на сцене. Так ей и надо, потаскушке».

Я оглянулся, но никого рядом со мной уже не было. Я стоял один на тротуаре перед арками бывшего банка, как-то вдруг оказалось, что время позднее. Наверху кучка мужчин в цилиндрах сто-

яла у открытого окна. Кто-то убеждал другого, остальные слушали, спор перешёл в ссору, назревала драка, но сцена эта ненадолго отвлекла меня. В соседнем окне находилась пара — точно силуэты из чёрной бумаги, — и невозможно было понять, беседуют ли они или молча вперились друг в друга. Время шло, а они всё стояли. Что-то копилось, я чувствовал накал между ними и даже подумал, что сам его создаю, как бывает, когда напряжение зала передаётся актёрам на сцене. Я понял, что мне надо вмешаться, пока не поздно; достаточно было перебежать улицу и вызвать швейцара. Но как раз в эту минуту громоздкий фургон подъехал и встал, дожидаясь зелёного света, перед выездом на площадь. Следом и впереди скопились машины. Когда, наконец, громадный короб толчками начал продвигаться вперёд, любовников уже не оказалось, комната погасла, лишь в соседних окнах брезжил свет, очевидно, из коридора.

Комедия окончена, сказал я, так и не узнав, что стало с героями, чем окончился немой поединок. Внезапно свет вспыхнул этажом ниже, пронеслась чёрная тень — это был мужчина. Одно за другим зажигались и гасли окна, это она на ходу включала свет, чтобы не дать беглецу ускользнуть. Должно быть, говорил я себе, они договорились, нашли выход из создавшегося положения, этот выход — двойное самоубийство. Он должен был выстрелить в неё, потом в себя. Наверное, он долго целился. «Не мучай себя, стреляй. Стреляй же, наконец!» — крикнула она. Он всё никак не мог нажать на курок. И кончилось тем, что он уронил игрушку, женщина наклонилась и подняла пистолет. Всё это происходило, когда фургон загораживал окна. Теперь она гналась за ним.

Всё тот же старческий голос прошамкал:

«Репетиция».

«Но вы же говорили...»

«Чего я говорила, ничего я не говорила».

У меня не было времени и желания узнать, кто она такая, я не спускал глаз с окон.

«Артисты, они и есть артисты. Я сама в театре работала».

«Вы играли на сцене?»

«Бывало, что и на сцене. Вещи разные подносила, польты подавала...»

«Слушайте, — пролепетал я, — мне некогда с вами разговаривать, боюсь, что это — не игра...»

«Ничего. Я тоже, бывало, как услышу крики, ну, думаю, что там стряслось. А потом привыкла».

Окно зажглось на среднем этаже: к моему удивлению, оба сидели за столом. Мужчина поднял бокал, предлагая чокнуться. Она держала, задумавшись, свой бокал, потом подняла голову и выплеснула вино в лицо любовнику. Он взглянул на свою манишку и медленно поднялся. Она тоже вышла из-за стола. На ней было чёрное платье с глубоким вырезом. Женщина стояла, упираясь в бедра обнажёнными руками, локти вперёд. Он с размаху влепил ей пощёчину.

Лавируя между машинами, я перебежал через дорогу и забарабанил в дверь. Я метался по тротуару, отыскивая другой вход. Сторож обрисовался за стеклом. «Имейте в виду, — закричал я, — на вашу ответственность!» Миновав тёмный кассовый зал, мы вышли в коридор, подъехала и осветилась кабина лифта. Наверху был такой же коридор, длинный и тусклый, с именами должностных лиц на табличках, названиями отделов, мас-

терских, на некоторых просто стояло: «Студия 1», «Студия 3».

Привратник брёл, разводя руками, следом за мной.

Я рванул дверную ручку, это была та самая комната, где эти двое сидели друг перед другом. Белая скатерть на столе залита вином, остатки вина в бокалах, опрокинутый стул. Со спинки второго стула свисает чёрное платье. Она убежала полуодетой.

В коридоре по-прежнему стояла мёртвая тишина, я не сомневался, что где-то здесь на полу лежит нагое обесчещенное тело. Ничего не обнаружив, мы поднялись этажом выше, в большой комнате сияла единственной лампочкой люстра, на столах лежали бумаги, рисунки, стояли бутылки из-под пива и кока-колы, за столами сидели куклы, изображающие мужчин, и держали на коленях кукольных женщин. В углу дрожал экран телевизора, передавали футбол. Окно было открыто настежь, может быть, то самое, у которого полчаса назад стояла компания в цилиндрах. Внизу я увидел безлюдную улицу и человека на тротуаре перед арками банка, редкие машины сворачивали на театральную площадь, чёрное небо стояло над крышами зданий, над едва различимыми стрелами церковей; город спал и грезил во сне, и мы все, люди и куклы, были его сновидением.

Дорогая, — спокойной ночи.

Буквы

Речь, произнесённая в Гейдельберге

От одного старого сидельца я слышал, что Бутырская тюрьма в двадцатых годах получила премию на международном конкурсе пенитенциарных учреждений за образцово поставленное коммунальное хозяйство. Сейчас тюрьма пришла в упадок. Железные лестницы, железные воротники на окнах проржавели, в коридорах валится с потолка штукатурка. В камерах грязь. На ремонт нет денег. И можно понять ностальгические чувства, с которыми старые надзиратели, если они ещё живы, вспоминают золотой век благополучия и порядка. Можно представить себе, как они говорят: а люди? Какие люди у нас сидели! Не то что нынешняя сволота.

108

В моё время порядок сохранялся. Тишина, цоканье сапог. Шествие с надзирателем по галерее вдоль ограждённого сеткой лестничного пролёта, впереди дежурный по камере несёт парашу. Никакой связи с внешним миром, ни радио, ни газет; самое существование застенка окутано тай-

ной. Но зато тюрьма располагала превосходной библиотекой. Непостижимым образом в абсурдном мире следователей, ночных допросов, карцеров, фантастических «дел» и заочных судилищ сохранились реликты старомодной добросовестности. Раз в две недели в камеру входил библиотекарь. Арестанты могли заказывать книги по своему выбору.

Из обширного ассортимента наказаний, какие могло предложить своим обитателям это учреждение, худшим было лишение права пользоваться библиотекой. К счастью, следователи прибегали к нему нечасто. Возможно, они не могли оценить его действенность, так как сами книг не читали. Нетрудно предположить, что в эпоху расцвета тайной полиции, в те послевоенные годы, когда страна испытывала особенно острую нехватку тюремной площади, когда спецкорпус, воздвигнутый при наркоме Ежове, был битком набит студентами, врачами, профессорами, евреями и тому подобной публикой, библиотека не могла пожаловаться на недостаток читателей. Бывало так, что заказанного автора не оказывалось на месте. Библиотекарь приносил что-нибудь выбранное наугад им самим. Это могли быть совершенно необыкновенные сочинения — диковинные раритеты, о которых никто никогда не слышал. Попадались даже, о ужас, сочинения врагов народа. Имена, выскобленные из учебников литературы, писатели, одного упоминания о которых было достаточно, чтобы загреметь туда, где обретались мы, и — получить возможность их прочесть. Тюремная библиотека пополнялась за счёт литературы, изъятой при обысках и конфискованной у владельцев.

Книги отправлялись в узилище следом за теми, кто их написал.

Дожив до двадцати одного года, я не удосужился прочесть многого. Я не читал даже «Братьев Карамазовых». Теперь их принесли в камеру, два тома издания 1922 года, перепечатка с дореволюционных матриц. Старомодная печать, старорежимная орфография. Архаические окончания прилагательных. Буквы, вышедшие из употребления.

С тех пор утекло много воды. Достоевский перестал быть полузапретным автором. Но для меня он остался тюремным писателем. Он остался там, в старых изданиях, потому что в новых я не умею читать его с былым увлечением. Новый шрифт и современное правописание высушили эту прозу, уничтожили её аромат. Перелитое в новые меха, вино лишилось букета. Я убедился, что печать включает в себе часть художественного очарования книги. Печать хранит нечто от её содержания — я думаю, это заметили многие. Я утверждаю, что орфография и набор составляют особое измерение текста, новый рисунок букв слегка меняет его смысл. Отпечатанный современным шрифтом, классический роман странно и необратимо оскудевает. Совершенно так же, как женщина, остриженная по последней моде, одетая не так, как при первой встрече, неожиданно теряет всю свою прелесть, таинственность и даже ум.

В Туре, в Северо-Западной Франции, над входом в скрипторий монастыря св. Мартина начертан латинский гексаметр: «Est opus egregium sacros iam scribere libros». «Славен труд перепис-

чика священных книг». «Переписанное вами, братья, и вас делает в некотором отношении бессмертными... Ибо святые книги, помимо того, что они святы, суть постоянное напоминание о тех, кто их переписал», — говорится в сочинении гуманиста XV века Иоанна Тритемия «Похвала переписчикам».

Быть может, 42-строчная Библия Гутенберга, оттиснутая на станке с подвижными литерами, не вызвала восторга у первых читателей. Можно предположить, что они испытали такое же чувство, как учёные александрийцы третьего века, впервые увидевшие пергаментный фолиант вместо папирусного свитка. Старый текст в новом оформлении неуловимо исказился.

Я люблю письменность. Я люблю типографские литеры. С отроческих лет меня зачаровывала фрактур, так называемый готический шрифт, я разглядывал твёрдые тиснёные переплёты и титульные листы немецких книг, любовался таинственной красотой изогнутых заглавных букв с локонами, и с тех пор «Фауст» для меня немислим, невозможен вне готического шрифта. В новом облачении пресной, будничной латиницы доктор и его спутник стали выглядеть, словно разгримированные актёры. Всё, что пленяло воображение, манило и завораживало, как знак Макрокосма, в который вперяется Фауст, сидя под сводами своей кельи, предчувствие тайны, предвестие истины — всё пропало! Трезвость печати уничтожила мистику текста.

Я любил с детства изобретать алфавит, исписывал бумагу сочетаниями невиданных букв, придумывал надстрочные знаки и аббревиатуры, вооб-

ражая, что в этих письменах прячется некий эзотерический смысл, и мне казалось, что письмо предшествует информации: не смысл сообщения зашифрован в знаках алфавита, но сами знаки порождают ещё неизвестный смысл. Не правда ли, отсюда только один шаг до веры в магическую власть букв, до обожествления графики.

Из трактата «Sefer Jeziga» («Книга творения»), который в некоторых рукописях носит название «Буквы отца нашего Авраама», отчего и приписывался прародителю Аврааму, на самом же деле сочинён в середине первого тысячелетия нашей эры, — из этого трактата можно узнать, что Бог создал мир тридцатью двумя путями мудрости из двадцати двух букв священного алфавита.

Из трёх букв сотворены стихии: воздух, огонь и вода. Из семи других букв возникли семь небес, семь планет, семь дней недели и семь отверстий в голове человека. Остальные двенадцать букв положили начало 12 знакам зодиака, 12 месяцам года и 12 главным членам человеческого тела.

«(Бог) измыслил их... и сотворил через них всё сущее, а равно и всё, чему надлежит быть созданным». Буквы — элементы не только всего, что существует реально, но и того, что существует потенциально. Подобно тому, как в алфавите скрыто всё многообразие текстов, включая те, что ещё не написаны, в нём предопределено всё творение. Алфавит — это программа мира. Ибо творение не есть однократный акт. Творение продолжается вечно. И вот, дабы приобщиться к акту творения, нужно сделать последний шаг: «взойти к Нему», как сказано в XXIV главе Книги Исход, — облечься в четырёхбуквенное Имя божества.

Французский писатель, нобелевский лауреат Эли Визел рассказывает хасидскую легенду о «господине благого Имени» — Баал Шем Тов, — который решил воспользоваться своей властью, чтобы ускорить пришествие Мессии. Но наверху сочли, что время для этого не пришло, чаша страданий всё ещё не переполнилась. За своё нетерпение Баал Шем был наказан.

Он очутился на необитаемом острове, вдвоём с учеником. Когда ученик стал просить учителя произнести заклинание, чтобы вернуться, оказалось, что рабби поражён амнезией: он забыл все формулы и слова. «Я тебя учил, — сказал он, — ты должен помнить». Но ученик тоже забыл всё, чему научился от мастера, кроме одной-единственной первой буквы алфавита — алеф. «А я, — сказал учитель, — помню вторую: бет. Давай вспоминать дальше». И они напрягли свою память, двинулись, как два слепца, держась друг за друга, по тропе воспоминаний и припомнили одну за другой все двадцать две буквы. Сами собой из букв составились слова, из слов сложилась волшебная фраза, и Баал Шем вместе с учеником возвратился домой. Мессия не пришёл, но зато они могли снова мечтать и спорить о нём.

Из фраз и слов, из знаков алфавита построен мир нашей памяти, и буквы на камне, под которым я буду лежать, обозначат нечто большее, нежели чьё-то имя, вырезанное на нём.

Чёрное солнце философии

*Измучен жизнью, коварством надежды,
Когда им в битве душой уступаю,
И днём, и ночью смежаю я вежды
И как-то странно порой прозреваю.
<...>*

*И так прозрачна огней бесконечность,
И так доступна вся бездна эфира,
Что прямо смотрю я из времени в вечность
И пламя твоё узнаю, солнце мира.*

Я получил в подарок ко дню рождения два изящных томика — трактат Артура Шопенгауэра «Die Welt als Wille und Vorstellung»⁷; мне было 17 лет. Станным образом эти книжки уцелели во всех передрягах моей жизни.

Стихи Фета «Измучен жизнью, коварством надежды...» можно посоветовать перечитать каждому, кто хотел бы познакомиться с философией Шопенгауэра, вернее, со стилем его мышления. Фет, как все знают, переводил Шопенгауэра. Стихи, в свою очередь, снабжены эпитафией из «Parerga und Paralipomena», сборника небольших произведений с трудно переводимым греческо-немецким названием, что-то вроде «Написанное между делом и то, что осталось», — философ издал его незадолго до смерти. По-русски эпитафия к

⁷ «Мир как воля и представление» (нем.).

стихотворению Фета звучит так: «Равномерность течения времени во всех головах убедительней, чем что-либо другое, доказывает, что мы все погружены в один и тот же сон, и более того, что этот сон видит Одно существо».

Я не приглашаю читателя логически продумать эту мысль, хотя она сформулирована по правилам логики. Достаточно, если он заглянет в неё, как заглядывают с обрыва в воду, и почувствует головокружение. Можно ли представить себе более ошеломляющую идею, чем онтологизация сна, предложение взглянуть на действительность из сна, из опрокинутого мира представлений, чтобы убедить себя, что именно он реален, а реальность — сон?

А вот другая цитата: «Понять, что такое *вещь в себе*, можно только одним способом, а именно, переместив угол зрения. Вместо того, чтобы рассуждать, как это делали до сих пор, с точки зрения того, кто представляет, — взглянуть на мир с точки зрения того, *что* представляется». Вещь в себе, понятие, обычно связываемое с именем Канта, означает реальность, о которой мы можем судить, но которую мы не в силах постигнуть, запертые в клетке нашей субъективности. Все попытки прорваться к действительности наталкиваются на эту преграду. Шопенгауэр предлагает не заниматься бесплодным сотрясанием клетки, но посмотреть на неё *оттуда*, глазами мира, о котором мы лишь грезили *здесь*.

И ещё один образец такого же образа мыслей: «метафизика любви». Так называется знаменитая 44 глава второго тома «Мира как воли и представления». «Воля к жизни, — говорится там, — тре-

бует своего воплощения в определённом индивидууме, и это существо должно быть зачато именно этой матерью и только этим отцом... Итак, стремление существа ещё не живущего, но уже возможного и пробудившегося из первоисточника всех существований — жажда вступить в бытие — вот то, чем в мире явлений представляется страстное чувство друг к другу будущих родителей, тех, кому предстоит дать ему жизнь и для которых ничто другое уже не имеет значения». Томящееся небытие стучится в мир, точно в запертую дверь. Но это *жаждущее быть* небытие — есть не что иное, как сверхреальность.

Никогда больше перемена точек отсчёта не станет таким откровением. Ни в каком другом возрасте всё это мирочувствие, вся эта мифология, в сущности очень древняя, не способны так одурманить и заморозить, как в юности. Томас Манн был прав, говоря, что Шопенгауэр — писатель для очень молодых людей. Ведь он сам был молод, когда пригубил от волшебного напитка его философии, — как молод был и тот, кто изготовил это питьё.

Шопенгауэр родился в Данциге двести с небольшим лет назад, он был сыном богатого и просвещённого купца, который ненавидел Пруссию и переселился в Гамбург, когда Старый Фриц получил во владение Данциг в результате второго раздела Польши. В Гамбурге Шопенгауэр-старший погиб от несчастного случая (возможно, покончил с собой), оставив сыну приличный капитал. Хотя впоследствии часть наследства пропала из-за того, что прогорел банк, это было всё же значительное состояние, это было завидное время, ког-

да можно было спокойно прожить целую жизнь на отцовские деньги в достатке и независимости, презирать политику и не пускать к себе на порог хищное государство, как не пускают сомнительного визитёра. Шопенгауэру исполнилось тридцать лет, когда он предложил издателю Брокгаузу в Лейпциге рукопись трактата, сочинённого в два или три года в порыве необычайного воодушевления. Это было в марте 1818 года.

Он обещал издателю верную прибыль. «Мой труд — это новая философская система, то есть новая в полном смысле слова... ничего подобного ещё никогда не приходило в голову ни одному человеку». Гонорар, который он требует, — сущие пустяки: 40 дукатов.

Книга была отпечатана под новый 1819 год, и за полтора года удалось продать сто экземпляров. После чего, как было сообщено автору, спрос прекратился. Тираж пролежал без движения пятнадцать лет и, наконец, пошёл в макулатуру. Шопенгауэр пытался состязаться с Гегелем в Берлинском университете и вновь потерпел фиаско: на лекции Гегеля студенты валили толпами, а на курс, объявленный Шопенгауэром, записалось два или три человека. Пережив несколько более или менее неудачных романов (некая горничная даже родила ему ребёнка, который вскоре умер), съездив дважды в Италию, рассорившись с матерью, раззнакомившись с Гёте, философ в конце концов обосновался во Франкфурте и жил там до самой смерти, одинокий и обозлённый на весь мир; гулял с пуделем и восхищался его интеллигентностью, играл на флейте, обедал в лучшем ресторане и совершенствовал свою систему. Он хотел быть по-

хожим на Канта, которого ставил очень высоко — на второе место после Платона, — но Кант не был мизантропом, не был пессимистом, сладострастно расписывающим мизерию человеческой участи, и не был сибаритом, как Шопенгауэр; Кант вставал до рассвета и умел обходиться очень немногим; что же касается собственно философии, то, выйдя в общем и целом из Канта, Шопенгауэр ушёл от него достаточно далеко, и притом не «вперёд» и не «назад», а в сторону, точнее, на Восток: к индийской Веданте.

Всё же он дождался дней своей славы и сравнивал себя с рабочим сцены, который замешкался и не успел вовремя уйти, когда поднялся занавес. Бывают люди, оставшиеся в памяти молодыми, несмотря на то, что они дожили до седин, а других помнят стариками, словно у них никогда не было юности. Шопенгауэр, чьё имя ставят обычно рядом с именами Ницше и Вагнера, воспринимается как их современник, между тем как его система — ровесница совсем другой эпохи. На многих дагерротипах он выглядит старцем с недобрым прокурорским взглядом, с двумя кустами волос вокруг лысины и белыми бакенбардами, и этот образ привычно связывается с его сумрачной философией, которая на самом деле была продуктом весьма небольшого опыта жизни и отнюдь не стариковского ума.

Кое-что помогло этому позднему театру славы: разгром революции 1848 года, крушение надежд (русский читатель вспомнит Герцена), конец революционной, юношеской эпохи в широком смысле слова, закат гегельянства, утрата интереса к политике, упадок веры в историю. Но главное

действие произвели качества его прозы, необычный для академической немецкой традиции литературный дар «рациональнейшего философа иррационализма», как назвал его Томас Манн, блеск стиля, похожий на блеск чёрных поверхностей, контраст между тёмно-влекущей мыслью и классически ясным языком. Да и просто то обстоятельство, что второй том «Мира как воли...», выпущенный спустя четверть века после первого тома, оказался более доступным для публики, вроде бокового входа, через который впускают курсантов во дворец. Метафизика гениальности, метафизика пола, смысл искусства, учение о музыке — сюжеты, которые вновь обрели притягательность в эпоху позднего романтизма. Всё это сделало Шопенгауэра властителем дум на многие десятилетия; и ледяное дыхание этого демона доносится до нашего времени.

Успех «Parerga» и особенно «Афоризмов житейской мудрости», книги, которую теперь уже мало кто читает, превратил одинокого мудреца в салонного оракула. Не остался незамеченным особый неуловимый эротизм этой философии, к которому общество становилось восприимчивей по мере того, как близился закат столетия, fin de siècle. Атака на женщин и ненависть к университетским профессорам принесли философу почти скандальную популярность. «Только мужской интеллект, опьянённый чувственностью, мог назвать прекрасным этот низкорослый, широкобёдрый, коротконогий пол...» и т. д. «То, что скоро моё тело будут грызть черви, с этим я ещё могу смириться; но вот то, что мою философию начнут гло-

дать профессора, — от этой мысли меня бросает в дрожь».

Чуть ли не все комментаторы считали своим долгом указать на несоответствие возвышенного духа этой философии человеческому облику её создателя; однако я подозреваю, что противоречие не так уж велико. В том, что он производил впечатление малоприятной личности, сомневаться не приходится. Кое-какие истории приводятся в качестве улик. В Берлине, в начале 20-х годов, философ повздорил с соседкой, сорокасемилетней шведкой; дело дошло до рукоприкладства, кажется, он спустил её с лестницы. Суд оштрафовал его на 20 талеров. Шведка, однако, утверждала, что получила увечье. Адвокат раздул дело до каких-то невероятных масштабов, на банковский счёт Шопенгауэра был наложен арест, кончилось тем, что он должен был выплачивать этой даме пожизненную пенсию. Когда через двадцать лет она скончалась, он записал в приходно-расходную книгу двойной латинский каламбур: *obit anus, abit opus* (старуха померла, свалилось бремя), прелестно венчающий всю историю. Можно вспомнить ещё несколько подобных анекдотов, не свидетельствующих о примерном поведении. Но что они доказывают? Люди всегда судили об этом человеке со стороны. 120 Одинокий в жизни, он был одинок и в историческом смысле, как подобает мыслителю, обогнавшему своё время. Одиночество приводит в согласие, что бы там ни говорили, его жизнь и его мысль.

Устарела ли философия Шопенгауэра? Не более, чем устарел весь XIX век. Не больше, чем устарели Гёте и Толстой. Две черты обличают в Шо-

пенгауэре «классика» — другими словами, делают его философию принадлежностью прошлого: системность и тотальность. Притязание на всеобъемлющую и окончательную истину, уверенность мыслителя в том, что в его руках — универсальный ключ к миру. Система Шопенгауэра — воспользуемся современным термином — это *метанаррация*, грандиозное метаповествование. К такой серьёзности мы больше не способны.

Философия эта изложена в первом томе «Мира как воли и представления», отчасти в книге «О воле в природе». Второй том и всё остальное — лишь дополнения, так или иначе развивающие интеллектуальный миф, — автокомментарий, мысли по разному поводу, громы и молнии, стариковское брюзжание, облачённое в изящный литературный наряд.

Что такое мир, что мы можем о нём знать? Всё сущее вокруг нас есть, собственно, не сам мир, не вещи сами по себе, а наши представления о них. Восприятие неотделимо от того, что воспринимают, — субъект и объект не существуют друг без друга. Никуда из этого круга не вырвешься. Утверждение, будто единственная реальность — это моё «я», достойно умалишённых, что же касается его противоположности, материализма, то и он попадает в ловушку. Философ-материалист берёт как некую изначальную данность материю, прослеживает её развитие от низших форм к высшей — человеческому разуму, и тут до его ушей доносится хохот олимпийцев, заставляющий его очнуться, как от наваждения, от своей на вид такой трезвой и реалистической философии: ведь то, к чему он пришёл, чем он кончил, — познающий

интеллект — было на самом деле исходным пунктом его рассуждений! Ум, интеллект — вот кто придумал материю и всё прочее. Итак, представление есть первый и последний философский факт, и пока мы остаёмся на позициях представления, мы не прорвёмся к первичной, подлинной действительности.

Но есть выход. Существует возможность постигнуть мир, вырвавшись из замкнутого круга представлений, и эту возможность предоставляет нам элементарный опыт, на который вся мудрость мира не обратила внимания. Философия приковалась к интеллекту, как Нарцисс — к зеркалу вод; для Декарта мысль — венец бытия, Спиноза, вслед за Ветхим Заветом, даже акт любви величает познанием. У Канта ограниченность разума — клетка, из которой он жадно взирает на мир: неудачный роман с действительностью, неутолённое вожделение интеллекта. Между тем есть одна вещь, о существовании которой мы можем судить непосредственно, вне связи с интеллектом, это — наше тело. Моё собственное тело. Оно не только объект, доступный для меня, как все объекты, в акте представления. Но оно в то же время — и я сам. Тело есть *ens realissimum*, наиочевиднейшая реальность.

Как всякий объект, его можно описывать, анализировать, объяснять; в мире представлений это физическое тело. Но, как уже сказано, эта реальность — не только объект. Она не только «представляет собой» что-то, не просто что-то «означает», — она *есть*. Постигаемое в этом качестве, изнутри, по ту сторону всех представлений, моё тело, средоточие желаний, влечений, вожделений,

оказывается не чем иным, как *волей*. Воля — вот волшебное слово.

Далее следует мыслительная операция, известная под названием «умозаключение по аналогии». Здесь уместно вспомнить восходящее к поздней античности сопоставление микро- и макрокосма. Микрокосм, или малый мир, — человек — есть отражение макрокосма, то есть Вселенной. Постигание сущности собственного тела — ключ к познанию мира в целом. Как и тело, мир дан нам в представлении. Как и тело, мир должен быть чем-то ещё кроме нашего представления о нём. Чем же? Бесконечное разнообразие объектов, множественность живых существ, небо созвездий — таков этот мир, но лишь как объективация некоторой сущности, ни к чему не сводимой, вечной, не имеющей начала и конца. По ту сторону представления, за порогом иллюзии, под переливчатым покрывалом Майи — мир всегда и везде один и тот же, мир — «то же, что ты»: воля.

Всякий объект подчинён «четвероякому закону достаточного основания»: чтобы существовать, объект должен *быть* (находиться в пространстве и времени), подлежать закону причинности (быть следствием или причиной чего-либо), должен быть познаваемым, наконец, если это живое существо, должен подчиняться закону мотивации. Но всё это относится лишь к миру объектов. Вещь в себе — воля — не нуждается ни в каких *raison d'être*, ничем не обусловлена и не обоснована. Она сама — условие и основа бытия, вернее, она и есть бытие. Мировая воля не знает ни времени, ни пространства, беспричинна, неуправляема и всегда равна самой себе. В таком понимании воля — не совсем то или даже совсем не то, что

обычно подразумевают под этим словом: не устремлённость к какой-то цели, не свойство кого-то или чего-то, человека, зверя или божества. Воля есть тёмный безначальный порыв — воля к существованию.

С этого момента вдруг становится ясно, что все предыдущие рассуждения — искусно построенные леса, скрывающие сооружение, ради которого они были сколочены. Логическое предварение философско-музыкального мифа. Многих увлекла и очаровала метафизика Шопенгауэра, — список этот велик, от Вагнера и Ницше до Пруста, Томаса Манна, Беккета, Борхеса, в России к нему надо прибавить Фета, Льва Толстого, Андрея Белого, Юлия Айхенвальда и мало ли ещё кого. Во всяком случае, для них она была не столько рассудочным построением, сколько авантюрой художественного ума, переживанием, близким к тому, которое производит искусство.

Вместе с философом вы стоите на берегу чёрного океана, вы вперяетесь в бездонную первооснову мира. Вас окружает «пылающая бездна», как сказано в одном стихотворении Тютчева, написанном в 1830 году, когда никому не приходило в голову ничего подобного, разве что философу-мизантропу, о котором наш поэт в те годы, конечно, не знал, хотя оба какое-то время жили в одном городе (Мюнхене).

Вы живёте сверхжизнью вашего подсознания; вы находитесь в пространстве сна и постигаете то, о чём не ведают в дневном мире: что этот сон и есть последняя, безусловная действительность. Ночь мира, бушующее чёрное пламя, безначальная воля своевольна, неразумна и зла. И если в уме человека эта воля достигла самосознания, то лишь

для того, чтобы втолковать ему, что он безделка в её руках, что его существование бессмысленно, безрадостно, безнадёжно. И вообще лучше было не родиться, это знали ещё древние — Феогнид и Софокл. Жизнь — это смена страдания и скуки, скуки и страдания. Our life is a false nature, говорит почитаемый Шопенгауэром лорд Байрон, наша жизнь — недоразумение. И даже самоубийство не обещает никакого выхода.

И всё же есть возможность *уйти*. Есть даже две возможности. Одно из решений — погасить в себе волю, отказаться от всех желаний, иллюзий, надежд. Погрузиться в нирвану, как учил Сидхарта, прозванный Буддой. Об этом поёт Брюнгильда в финале тетралогии «Кольцо Нибелунга», когда горит дом богов Валгалла и надвигаются сумерки мира. Известно, что Вагнер переписал конец. Первоначально в тексте оперного либретто стояло: «Verging wie Rauch der Götter Geschlecht... Племя богов ушло, как дыхание; я оставляю мир без владыки... Ничто не дарует счастья. И в скорби, и в радости блаженство — только любовь».

Эти стихи были заменены другими. В окончательном варианте Брюнгильда, перед тем как верхом на коне броситься в огонь, восклицает:

«Я не веду больше на пир Валгаллы! Знаете ли вы, куда я иду? Я покидаю дом желаний, я навсегда уйду из мира наваждений, врата вечного возрождения я закрываю за собой. В заветный край, где нет обольщений, к цели всех страстей, покончив с круговращением жизни, ныне устремляется Видящая. Блаженный итог всегдашнего, вечного, знаете, как я его достигла? Горчай-

шая мука любви отверзла мне очи. И я увидела, как гибнет мир».

Но и это ещё не венец всех рассуждений; главное, по закону художественной композиции, припасено под конец. Другая возможность, кроме аскезы, вырваться из-под ига мировой воли — та, которую выбрал сам Рихард Вагнер и к которой приблизился Шопенгауэр — художественное созерцание, искусство. Несколько неожиданно философ, который развенчал человеческий разум, низведя его до лакейской роли прислужника воли (мы бы сказали — исполнителя велений подсознания), возвращает человеку его достоинство. Философия, которая хочет постигнуть, но не объяснить мир (и уж тем более не переделать его, как требовал Маркс, — мир не переделаешь), не могла не увидеть в искусстве своего рода герменевтику бытия. Однако дело не только в том, что взгляду художника открывается то, что недоступно науке, — «чистая объективация воли», платоновская идея. Дело в том, что художественное созерцание превращает человека в *незаинтересованного зрителя*. Художник обретает свободу. Не от государства, не от общества — всё это пустяки, — свободу от злосчастной воли. «Он их высоких зрелищ зритель».

Теперь — и в заключение — нужно сказать о музыке. (Давно пора, не правда ли?) Насколько Вагнер превозносил философию Шопенгауэра, настолько её творец пренебрёг музыкой Вагнера. Отверг преданнейшую любовь. Это бывает. «Поблагодарите вашего друга за то, что он прислал мне своих Нибелунгов, но, право же, ему не стоит заниматься музыкой. Как поэт он талантливей... Я остаюсь верен Россини и Моцарту!» Эта отповедь

была передана через третье лицо. На склоне лет франкфуртский философ играет почти исключительно вещи своего любимого композитора: у него имеется полное собрание сочинений Джоакино Россини в переложении для флейты. Кажется странным, что источником высоких вдохновений и материалом, из которого возникла метафизика музыки, составившая 52 параграф I тома и дополнение к нему — главу 39 II тома, был всего лишь «упойтельный Россини». Почему не Бетховен? Но Шопенгауэр разделял вкусы своего поколения; он был не намного моложе Стендаля, который хотел, чтобы на его могиле было написано: «Эта душа обожала Моцарта, Россини и Чимарозу».

В самой природе музыки есть нечто напоминающее философию Шопенгауэра, рациональнейшего из иррационалистов. Вечно живой миф музыки облечён в строгую и экономную форму — пример высокоупорядоченной знаковой системы, где по строгим правилам закодировано нечто зыбкое, многозначное, не поддающееся логическому анализу, не сводимое ни к какой дискурсии. О чём он, этот миф?

Ему посвящены вдохновенные страницы. Музыка стоит особняком среди всех искусств. Музыка ничему не подражает, ничего не изображает. Если другие искусства, поэзия, живопись, ваяние, зодчество созерцают личины мировой воли, её маскарадный наряд, если, прозревая за эфемерными масками воли вечные объекты, очищая их от всего суетного, художник — поэт или живописец — лишь воспроизводит их, если словесное или изобразительное искусство возвышается над жизнью, но остаётся в мире представления, если ему удаётся лишь слегка приподнять покрывало

Майи, — то музыка сбрасывает покрывало. Музыка — это образ глубочайшей сущности мира. «Не идеи, или ступени объективации воли, но *сама воля*». (Можно усмотреть некоторое противоречие в том, что философ, рисуящий самыми мрачными красками стихию мира — злую, неразумную, неуправляемую, вечно неутолённую — находит её адекватный образ в жизнерадостной, стройно-гармоничной и ласкающей слух музыке Россини.)

Если музыка в самом деле говорит нам о сущности мира и нашего существа, то она оправдывает эту сущность. Недоступное глазу зрелище, о котором невозможно поведать никакими словами. То, о чём не можешь сказать, о том надлежит молчать, изрёк один мудрец, мало похожий на Шопенгауэра, но и не такой уж далёкий от него: Витгенштейн. А музыка может.

Вейнингер и его двойник

*«Об одном хочу тебя попросить:
не старайся слишком много
узнать обо мне».*

1. Инцидент

Полиция обнаружила в доме № 5 на улице Чёрных испанцев, в комнате, где умер Бетховен, прилично одетого молодого человека с огнестрельной раной в области сердца. Он скончался на пути в больницу. Самоубийцей оказался доктор философии Венского университета Отто Вейнингер, евангелического вероисповедания, двадцати трёх с половиной лет. Вейнингер жил с родителями, респектабельной четой среднего достатка, с сёстрами и братом. Он оставил два завещания. Одно из них было написано в феврале 1903 года, за восемь месяцев до смерти, другое — в августе, на вилле Сан-Джованни в Калабрии. В завещаниях содержались распоряжения об урегулировании мелких денежных дел, друзьям Артуру Герберу и Морицу Раппапорту он оставил на память маленькую домашнюю библиотеку и две сабли. Кроме того, просил разослать некоторым известным людям — Кнуту Гамсуну, Якобу Вассерману, Максиму Горькому — экземпляры своего трактата

«Пол и характер». В бумагах умершего нашлась загадочная запись, сделанная перед смертью: «Я убиваю себя, чтобы не убить другого».

2. Кем он был

Жизнеописание Отто Вейнингера можно уместить на одной страничке: родился в Вене в апреле 1880 года, проявил раннюю умственную зрелость, необычную даже для еврейского подростка. В университете изучал естественные науки, затем переключился на философию и психологию, слушал курсы математики, физики, медицины. В двадцать лет это был эрудит, прочитавший всё на свете, серьёзно интересующийся музыкой, владеющий древними и новыми языками. О своих способностях он был высокого мнения и однажды записал: «Мне кажется, мои духовные силы таковы, что я мог бы в известном смысле решить все проблемы». Оставалось свести все знания и прозрения в единую всеобъясняющую систему, решить загадку мира и человека. Что он и сделал.

По совету профессора Йодля, своего университетского руководителя (который, правда, советовал убрать «некоторые экстравагантные и шокирующие пассажи», а в частном письме признавался, что автор при всей своей гениальности антипатичен ему как личность), Вейнингер углубил и расширил свою докторскую диссертацию. Шестисотстраничный труд под названием «Пол и характер. Принципиальное исследование», с предисловием автора и обширными комментариями, был

выпущен издательством Браумюллер в Вене и Лейпциге весной 1903 года.

В день защиты диссертации Вейнингер принял крещение. Переход евреев в христианство был довольно обычным делом в католической Австрии, но Вейнингер крестился по лютеранскому обряду, что, во всяком случае, говорит о том, что он сделал это не ради карьеры, выгодной женитьбы и т. п. Летом 1903 года он совершил поездку в Италию, в конце сентября вернулся в Вену и, проведя пять дней у родителей, снял на одну ночь комнату в доме Бетховена. На рассвете он застрелился.

3. Человек. Его привычки

Две сохранившиеся фотографии Вейнингера — два разных человека, хотя их разделяет всего несколько лет. Зная о том, что случилось с Вейнингером, легко поддаваться искушению прочесть в этих портретах его судьбу. Смерть в ранней молодости бросает тень на прижизненные изображения, смерть вообще меняет фотографии человека, об этом знала Анна Ахматова.

Первый снимок: где-то в парке на скамье сидит юноша, почти подросток, темноглазый и темноволосый, с большими ушами, в сюртучке, в высоких воротничках и белом галстуке, и смотрит вдаль; немного похож на Кафку.

На второй фотографии (поясной портрет, сделанный в ателье, вероятно, в последний год жизни) Вейнингер выглядит старше своих лет. Узко-

плечий, одет более или менее по моде: белый стоячий воротник с отогнутыми уголками, сюртук, жилет, видна цепочка от часов; широкий галстук повязан несколько криво. Он в очках, некрасивый, как молодой Ницше; короткая стрижка, жидковатые усы. Вейнингер как будто вот-вот усмехнётся, поймает на ошибке невидимого оппонента; взгляд человека настырного и несчастного.

Сохранились и кое-какие воспоминания. Стефан Цвейг учился в университете в одно время с Вейнингером. «У него всегда был такой вид, словно он только что сошёл с поезда после тридцатичасовой езды: грязный, усталый, помятый; вечно ходил с отрешённым видом, какой-то кривой походкой, точно держался за невидимую стенку, и так же кривились его губы под жидкими усиками...»

Похожее описание внешности покойного друга студенческих лет сделал Артур Гербер, человек ничем не знаменитый. Отто был худ, неловок, небрежно одет, в движениях было что-то судорожное, ходил, опустив голову, неожиданно срывался и нёсся вперёд. «Никогда я не видел его смеющимся, улыбался он редко». Вечерами, во время совместных прогулок по тусклым улицам, Вейнингер преображался. «Он как будто становился выше ростом, — пишет Гербер, — увлечённый разговором, фехтовал зонтом или тростью, как будто сражался с призраком, и был в эту минуту похож на персонаж Гофмана».

Круг знакомств юного Вейнингера был, по-видимому, крайне узок. Нет никаких сведений о его взаимоотношениях с женщинами, никаких следов невесты, подруги. Похоже, что он никогда не пережил страстной любви. Если же и случалось

что-нибудь подобное, то это были, надо думать, неудачи.

4. Его фантазии

После Первой мировой войны Артур Гербер опубликовал заметки и письма Вейнингера, — книжка, ставшая раритетом. Во вступительной статье рассказано несколько мелких эпизодов из жизни Вейнингера. Дождливым днём, поздней осенью 1902 года, друзья едут в трамвае в Герстхоф, весьма отдалённый по тем временам городской район. На Вейнингере зимнее пальто, но он мёрзнет. «Я чувствую холод гроба». Входят в комнату, спёртый воздух. «Пахнет трупом, — тебе не кажется?..» Вейнингеру остаётся жить меньше года, Гербер пишет о нём спустя два десятилетия, густая тень будущего лежит на его воспоминаниях. Другой рассказ. Приятели шатаются вечером вокруг какой-то церкви, потом Отто провожает друга домой. Потом Артур провожает Отто. Поздно ночью, наконец, прощаются, на улице ни души, Вейнингер вглядывается в глаза другу и — шёпотом:

«Тебе не приходила в голову мысль о двойнике? Вдруг он сейчас появится, а?.. Двойник — это тот, кто всё знает о человеке. Даже то, о чём никто не рассказывает».

Гербер не знает что ответить. Вейнингер поворачивается и уходит.

5. Книга

Надо же, выбрал место: дом, где угас Бетховен. Любил ли он Бетховена? «Истинно великий музыкант, — говорится в книге Вейнингера, в главе «Дарование и гениальность», — может быть таким же универсалом, как поэт или философ, может на своём языке точно так же измерить весь внутренний мир человека и мир вокруг него; таков гений Бетховена». Всё же Вейнингер, вероятно, предпочёл бы, если б мог, свести счёты с жизнью не в родном городе, который он не любил, а в Венеции, во дворце Вендрамин-Калерджи, где скончался Вагнер, «величайший человек после Христа».

Мориц Раппапорт, другой сверстник и друг, привёл в порядок его рукописи и опубликовал их (в 1904 году) под общим названием «О последних вещах». Это выражение — «последние вещи» (*die letzten Dinge, ultimae res*) — отсылает к христианской эсхатологии, учению о конце света, о смерти и воскресении из мёртвых. Позднее, как уже сказано, Гербер подготовил к печати многочисленные письма и расшифровал стенографические заметки из записной книжки Отто. Всё это могло привлечь внимание лишь на фоне оглушительной славы, которой удостоились «Пол и характер» сразу после их появления. Вейнингер успел услышать первые трубные звуки этой славы; да он и не сомневался в том, что будет признан великим философом и психологом, первооткрывателем последних тайн человеческой натуры.

Книга давно уже не переиздаётся. Две-три

строчки в энциклопедических словарях — вот и всё, что осталось от Вейнингера. Книга, написанная сто лет назад, стала нечитаемой, забыта или почти забыта, но невозможно забыть её автора — «случай», который не раз был предметом социально-психологических и психоаналитических толкований; чем больше его разгадывали, тем он казался загадочней. В короткой жизни Вейнингера самоубийство поставило не точку, а многоточие. Книга Вейнингера заслонена им самим. Утратив — или почти утратив — самостоятельное философское и тем более научное значение, она осталась в равной мере документом его эпохи и его личности, она стала знаком судьбы. Перечитывая книгу, понимаешь, что тот, кто её написал, не мог не истребить себя.

6. Почитатели

Сто лет прошло, и наступил новый *fin de siècle*: невыносимой тяжестью висит у нас на плечах ушедший век. Что-то похожее на этот груз, должно быть, ощущали на себе европейцы, провозжая девятнадцатое столетие. Не потому ли тянет вспоминать о некоторых современниках той поры, что они, как и мы, смутно чувствовали вместе с концом века близость какого-то другого финала? Можно сказать, что имя Отто Вейнингера переживает ныне род чахлого, осторожного возрождения. Пожалуй, это скверный симптом. О Вейнингере написан роман, лет десять тому назад в Вене была поставлена пьеса под названием

«Ночь Вейнингера». Мрачная история, — и лучше всего было бы сдать окончательно дело Вейнингера в архив. Но не получается.

Два или три десятилетия, прежде чем сочинение Вейнингера перекочевало в библиотечные фонды редко востребуемых книг (а в Советском Союзе — в спецхран), оно успешно конкурировало с самыми модными новинками. За первые десять лет книга, что совсем необычно для учёного труда, была переиздана 12 раз. К началу тридцатых годов она выдержала около тридцати изданий. Книга была переведена на все языки, включая русский (два издания). Это был одновременно и рыночный бестселлер, скандальный до неприличия, и серьёзный труд, с которым полемизировали, которым восторгались, чьему влиянию поддались прославленные умы. Под двусмысленным обаянием Вейнингера чуть ли не всю жизнь находился Людвиг Витгенштейн. О Вейнингере уважительно писали Николай Бердяев в книге «Смысл творчества» (что, возможно, следует сопоставить с его позднейшими профашистскими симпатиями) и — чему тоже не приходится удивляться — Василий Розанов («Опавшие листья», короб I). Роберт Музиль испытывал к Вейнингеру отчуждённый интерес — как и к психоанализу Фрейда. Автор «Пола и характера» стал чуть ли не главной фигурой в нашумевшей книге Теодора Лессинга «Ненависть евреев к себе» (1930), — самый термин *Selbsthaß* был, по-видимому, заимствован у Вейнингера. Мы не будем здесь говорить о попытках оживить интерес к Вейнингеру в нацистской Германии (некий доктор Центграф выпустил в Берлине в 1943 году

брошюру «Жид философствует»). Но женоненавистничество Вейнингера вызвало, например, живое и понятное сочувствие у Августа Стриндберга. «Странный, загадочный человек этот Вейнингер! — восклицает Стриндберг. — Уже родился виноватым — как и я...» Великий швед нашёл в этом мальчике родственную душу.

7. Наука и ещё что-то

Через два года после появления книги «Пол и характер» («Geschlecht und Charakter») Старлинг ввёл в биохимию человека понятие о гормонах — веществах с мощным физиологическим действием, выделяемых железами внутренней секреции. В 1927 году было показано, что гормоны передней доли гипофиза регулируют деятельность половых желёз; в 20-х и 30-х годах химически идентифицированы мужские и женские половые гормоны, ответственные за внешний облик и сексуальное поведение индивидуума. Об этих открытиях здесь стоит упомянуть, так как некоторые идеи Вейнингера их отчасти предвосхитили.

Книга «Пол и характер» стала библиографической редкостью, и нам придётся кратко пересказать её содержание, вернее, её главные тезисы. Книга состоит из двух частей. Первая, медико-биологическая часть именуется подготовительной и озаглавлена «Сексуальное многообразие».

Разница между мужчиной и женщиной не ограничена первичными и вторичными половыми признаками, но простирается на все клетки и тка-

ни организма. Можно говорить о двух биологических началах, мужском (М) и женском (Ж). При этом оба начала сосуществуют в каждом индивидууме, — нет ни стопроцентных мужчин, ни абсолютных женщин. Другими словами, у каждого мужчины и каждой женщины имеет место та или иная степень недостаточности определяющего начала, — решает дело лишь преобладание М над Ж или наоборот.

В этом смысле каждый человек бисексуален. Тезис Вейнингера согласуется с позднейшими данными эндокринологии: в организме мужчины вырабатываются вместе с мужскими половыми гормонами женские, и наоборот, в женском организме можно обнаружить присутствие мужских гормонов.

Далее формулируется (и выводится с помощью математических выкладок) «закон полового влечения»: оно тем сильнее, чем более полно недостаточный мужской компонент мужчины компенсируется добавлением мужского компонента женщины и недостающий женский компонент у женщины — женским компонентом мужчины. Слабый мужик тянется к сильной бабе, сильного мужчину привлекает слабая женщина. Когда же обе чаши весов, М и Ж, приближаются к равновесию, мы получаем интерсексуальный тип — мужеподобную женщину, женственного мужчину. Промежуточный тип играет заметную роль в некоторых общественных движениях, например, в феминизме — борьбе за женское равноправие, бессмысленное, по мнению Вейнингера. Так намечается новый аспект истории и социологии — биологический. Сочетанием противоположных начал, близким к соотношению 1:1, объясняется и

гомосексуализм, который, по Вейнингеру, столь же легитимен, «нормален», как и нормальная половая жизнь.

8. Женщина. Её рабство

Во второй, главной части — «Сексуальные типы» — биологические начала М и Ж превращаются в характерологические. Два пола — два разных характера. Женская душа всё ещё окружена ореолом таинственности; все заслуживающие внимания описания женского характера — в научной литературе, в романах — принадлежат мужчинам и далеко не всегда достоверны. По существу, психология женщины не расшифрована. Автор собирается это сделать.

Оказывается, никакой тайны тут нет, — ключ к женской душе, как и к физической природе женщины, лежит в её сексуальности. Сексуален, разумеется, и мужчина. Но его сексуальность — доверок к его личности. Сексуальность женщины тотальна. Пол пронизывает всё её существо. «Ж есть не что иное, как сексуальность; М — сексуальность, но и кое-что другое». Анатомия демонстрирует эту несимметричность: половой аппарат женщины скрыт в её теле, половые органы мужчины остаются снаружи как некий придаток к его телу.

Отсюда вытекает принципиальная противоположность сознания мужчины и женщины: одно и то же психическое содержание принимает у них совершенно разные формы. Мужчина преобразует

его в чёткие представления и логические понятия, у женщины всё остаётся в диффузной форме, «мысль» и «чувство» нераздельны; мужчина способен психологически дистанцироваться от сексуальности, женщина — никогда, ибо она вся — воплощение своего пола. Женщина — это раба самой себя. Женщина лишена дара рефлексии, не в силах подняться над собой, ей незнаком универсализм — условие гениальности. Гений может быть только мужчиной.

Здесь нужно сделать одно замечание. «Женщина» в немецком языке обозначается двумя словами: Frau и Weib; автор трактата «Пол и характер» пользуется почти исключительно вторым словом. В современном употреблении Frau — нормативное слово, звучащее нейтрально. Weib вытеснено в нижний слой языка и звучит скорее презрительно («баба»), но имеет и другие коннотации. Этимологически оно связано с глаголом, означающим «закутывать», — у европейских народов индогерманской языковой семьи покрывалом прикрыта невеста. Немецкое слово Weib воспринимается как устарелое, риторическое и выражающее женскую суть. Все эти значения, очевидно, присутствуют у Вейнингера.

9. Чего нет, того нет

В нескольких главах (вызвавших наибольший интерес у серьёзных читателей) рассмотрена связь между самосознанием, логикой и этикой мужчины и женщины. Здесь — та же самая несимметричность М и Ж.

«Toute notre dignité consiste donc en la pensée — всё наше достоинство состоит в мысли... Будем стараться мыслить правильно: вот основа морали». Так заканчивается знаменитое рассуждение Паскаля о мыслящем тростнике. Вейнингер не ссылается на Паскаля (бегло упоминает о нём по другому поводу), но, в сущности, подхватывает этот тезис. Логика, разум — основа нравственности. Не сердце, не интуиция диктуют нравственный закон, а логически упорядоченная мысль. Человек морален, поскольку он одарён способностью логически мыслить. «Вопрос в том, признаёшь ты или не признаёшь аксиомы логики мериллом ценности своего мышления, считаешь ли ты логику судьёй твоих высказываний, ориентиром и нормой твоих суждений». Вопрос, который бессмысленно ставить перед женщиной. Ибо женщине всё это попросту недоступно. Ей «недостаёт интеллектуальной совести». Женщина безответственна и лжива.

«Существо, не понимающее или не желающее признать, что А и не-А исключают друг друга, не знает препятствий для обмана, существу этому чуждо самое понятие лжи, так как противоположное понятие — правда — для него не закон; такое существо, раз уж оно наделено даром речи, лжёт, даже не сознавая этого...»⁸

141

Вейнингер придаёт особое значение закону исключённого третьего ($A = A$), так как в итоге дальнейших рассуждений делается вывод, что закон этот имеет фундаментальное значение для самосознания личности. Он означает: я — есмь. Я — это я, а не кто-то другой или что-то другое. Вер-

⁸ Здесь и далее — перевод автора.

ность самому себе, искренность и правдивость по отношению к себе — вот основания единственно мыслимой этики. Такова этика мужчины — но не женщины.

10. Величие и одиночество

После этого (завершая главы об этике) следует любопытное высказывание, пассаж, который перебрасывает мост от Паскаля через Канта к французскому экзистенциализму, к завету героического одиночества перед лицом абсурда, — неожиданная, гордая и горестная человеческая страница, лучшая, может быть, во всём сочинении.

«Человек — один во вселенной, в вечном, чудовищном одиночестве. Вне себя у него нет цели, нет ничего другого, ради чего он живёт; высоко взлетел он над желанием быть рабом, над умением быть рабом, над обязанностью быть рабом; далеко внизу исчезло человеческое общежитие, потонула общественная этика; он один, один!»

Но тут-то он и оказывается всем; и потому заключает в себе закон, и потому он сам есть всецело закон, а не своевольная прихоть. И он требует от себя повиноваться этому закону в себе, закону своего существования, без оглядки назад, без опаски перед будущим. В этом его жуткое величие — следовать долгу, не видя далее никакого смысла. Ничто не стоит над ним, одиноким и всеединым, никому он не подчинён. Но неумолимому, не терпящему никаких компромиссов, категорическому призыву в самом себе — ему он обязан подчиняться...»

11. Эмансипация наоборот

Женщина — сфинкс? Смешно... «Мужчина бесконечно загадочней, несравненно сложнее. Достаточно пройтись по улице: едва ли увидишь хоть одно женское лицо, на котором нельзя было бы сразу прочесть, что оно выражает. Регистр чувств и настроений женщины так беден!»

Существует два основных типа поведения женщины, к ним, собственно, всё и сводится. Ж — это или «мать», или «шлюха», в зависимости от того, что преобладает: установка на ребёнка или установка на мужчину. Проституция — феномен отнюдь не социальный, но биологический или даже метафизический; проституция всегда была и всегда будет; распространённое мнение, будто женщина тяготеет к моногамии, а мужчина — к полигамии, ошибочно: на самом деле моногамный брак — союз одного с одной — создан мужчиной, носителем индивидуальности, человеком-личностью, человеком-творцом.

В самом общем смысле мужчина олицетворяет начало, созидающее цивилизацию. В лучших своих образцах это существо творческое, нравственное и высокоодарённое. Женщина же, напротив, тянет человечество назад, к докультурному прошлому, к тёмным и бессознательным истокам. Ей чужда мораль, она неспособна к творчеству и если выказывает интерес к искусству и науке, то лишь для того, чтобы угодить мужчине: это всего лишь притворство. Мужской воле противостоит женское влечение, мужской любви — бабья похоть, мужскому формотворчеству — женский хаос, не-

что бесформенное, недоделанное, расплывающееся... Женщина есть полномочный представитель идеи соития. Коитус, только коитус — и больше ничего! Идеал женщины — мужчина, целиком превратившийся в фаллос. Подлинное освобождение человечества есть освобождение от власти женщины — воздержание.

(Эту обвинительную речь дополняет любопытный пассаж из посмертно опубликованных записок, род самокритики. Мужчина тоже не безвиновен. «Она» сумела заронить зло в его душу. Как может он упрекать женщину в том, что она жаждет поработить мужчин, если они сами хотят того же? «Ненависть к женщине всегда есть лишь всё ещё не преодоленная ненависть к собственной сексуальности». Это уже почти признание.)

Теперь М и Ж — уже не биология и не психология, теперь это метафизические понятия. Женщина — не только «вина мужчины», воплощение постыдного низа человечества. Противостояние мужского и женского принимает почти манихейские черты. Свет и тень, абсолютное добро и абсолютное зло. Но и этого мало. Последовательное раздевание женщины — разоблачение злого начала — завершается странным открытием: *там ничего нет*. В главе «Сущность женщины и её смысл в мироздании» говорится:

«Мужчина в чистом виде есть образ и подобие Бога, то есть абсолютного *Нечто*. Женщина символизирует *Ничто*. Таково её вселенское значение, и в этом смысле мужчина и женщина дополняют друг друга». Итак, глубочайшая сущность женщины — отсутствие сущности, «бессущность»; чтобы стать из ничего чем-то, ей нужен мужчина.

12. Коварство Иакова

Венчает эту ахиною глава о народе, который, как выясняется, аккумулировал все отрицательные качества женской души. Это евреи. Не правда ли, мы этого ждали, этим должно было кончиться. Почему? Существует типологическое родство и внутренняя связь между женоненавистничеством и ненавистью к евреям, антифеминизмом и антисемитизмом.

«Существуют народности и расы, у которых мужчины, хотя их и нельзя отнести к промежуточному интерсексуальному типу, тем не менее так слабо и так редко приближаются к идее мужественности... что принципы, на которых базируется наше исследование, на первый взгляд кажутся основательно поколебленными». Таким исключением являются, вероятно, китайцы (не зря они носят косичку) и уж без всякого сомнения — негры с их низкой моралью и неспособностью быть гением. Евреи похожи на негров (курчавые волосы) и вдобавок содержат примесь «монгольской крови» (лицевой череп как у малайцев или китайцев, лицо бывает часто желтоватым).

Впрочем, речь идёт не о расе и не столько о народе, сколько об особой психической конституции, которая в принципе может быть достоянием не только евреев; просто историческое еврейство — самый яркий и зловещий её представитель. И оно это чувствует: самые заядлые антисемиты — не арийцы, а сами евреи. Вот в чём могла бы состоять историческая заслуга еврейства — предостеречь арийца, постоянно напоминать ему

о его высоком достоинстве, о его низменном антитепе.

Еврейство сконцентрировало в себе бабьи черты. Евреи, как и женщины, беспринципны, у них отсутствует тяга к прочности, уважение к собственности — отсюда коммунизм в лице Маркса. У еврея, как и у женщины, нет личности, еврей не имеет своего «я» и, следовательно, лишён представления о собственной ценности, не случайно у евреев нет дворянства. Не индивидуальность, а интересы рода движут евреем — совершенно так же, как инстинкт продолжения рода движет женщиной. Говорят, что рабские привычки навязаны евреям историческими обстоятельствами, дискриминацией и т. п. Но разве Ветхий Завет не свидетельствует об исконной, изначальной низости евреев? Патриарх Иаков солгал своему умирающему отцу Исааку, бесстыдно обманул брата Исава, объегорил тестя Лавана.

13. Народ-женщина. Его триумф

Еврей, продолжает Вейнингер, противостоит арийцу, как Ж противостоит М. Гордость и смирение борются в душе христианина — в еврейской душе соревнуются заносчивость и лизоблюдство. Не зная христианского смирения, еврей не знает и милости, не ведает благодати. Еврей поклоняется Иегове, «абстрактному идолу», полон холопского страха, не смеет даже назвать Бога по имени — всё женские черты: рабыня, которой нужен господин. В еврейской Библии отсутствует

вера в бессмертие души. Как же может быть иначе? У евреев нет души.

Высшее качество арийца — гениальность — недоступно еврею совершенно так же, как оно невозможно у женщины. Среди евреев нет и не было великих учёных, нет у них ни Коперника, ни Галилея, ни Кеплера, ни Ньютона, ни Фарадея. Нет и не было гениальных мыслителей и великих поэтов. Называют Генриха Гейне, ссылаются на Спинозу. Но Гейне — поэт, начисто лишённый глубины и величия, а Спиноза — отнюдь не гений: среди знаменитых философов нет ума столь небогатого идеями, лишённого новизны и фантазии. Вообще всё великое у евреев — либо не великое, либо не еврейское. Любопытно, что англичане, чьё сходство с евреями отмечено ещё Вагнером, тоже, в сущности, мало дали по-настоящему великих людей.

При всём сходстве евреев с женщинами между ними есть и важное отличие. Женщина верит в *Другого*: в мужчину, в ребёнка. Еврей хуже женщины, он не верит ни во что.

«В наше время еврейство оказалось на такой вершине, куда ему ещё не удавалось вскарабкаться со времён царя Ирода. Дух модернизма, с какой стороны его ни рассматривать, — это еврейский дух. Сексуальность всячески одобряется, половая этика воспеваает коитус...»

147

Время капитализма и марксизма, время, когда утрачено уважение к государству и праву, время, не выдвинувшее ни одного крупного художника, ни одного замечательного философа, попавшееся на удочку самой плоской из всех концепций истории — исторического материализма. «Самое

еврейское и самое женоподобное время». Автор книги «Пол и характер» не устаёт клеймить эпоху, в которой его угораздило родиться и жить.

Но наперекор вконец обнаглевшему еврейству несёт миру свой свет новое христианство. Как в первом веке, борьба требует радикального решения. Человечеству предстоит сделать выбор между еврейством и христианством, между делячеством и культурой, между женщиной и мужчиной, между инстинктом пола и личностью, между тем, что есть ничто, — и божеством. Третьего не дано.

14. Счастливая Австрия

Барон Франц фон Тротта, сын унтер-офицера словенца, спасшего жизнь юному кайзеру Францу-Иосифу I в бою под Сольферино и возведённого во дворянство, смотрит из окна своей гостиной на площадь, где выстроились колонны в белых парадных мундирах австрийской армии. Звучит знаменитый «Марш Радецкого» Иоганна Штрауса-старшего. Император в седых бакенбардах, в белых перчатках осаживает коня.

148 Музыка, в которой слышится танцующий шаг кавалерии, кокетливо-молодецкий марш, отнюдь не воинственный, который так и зовёт шагать, гарцевать, смеяться, побеждать не города, а сердца. Беззаботная душа старой Вены! Латинский стих, ставший поговоркой: «*Bella gerant alii, tu felix Austria nube*». «Пусть другие воюют — а ты, счастливая Австрия, играй свадьбу!» Куда это всё провалилось?.. Старик Тротта умирает в один

день с 86-летним кайзером. Его единственный сын, третий и последний барон, убит на фронте. «Марш Радецкого», роман Йозефа Рота, вышедший в тридцатых годах, — это песнь любви к исчезнувшей Двуетной монархии, ностальгическая песнь, между прочим, пропетая евреем.

В огромном рыхлом теле Австро-Венгрии билось три сердца — славянское, мадьярское и, конечно, немецкое: Прага, Будапешт, Вена. На груди государственного двухглавого орла висел щит с бесчисленными гербами, десятки народов и народностей составляли 50-миллионное население империи Габсбургов, с грехом пополам объединившей, кроме собственно австрийских и венгерских земель, Богемию, Моравию, Силезию, Галицию, Буковину, Далмацию, Хорватию, Словению, Фьюме, Боснию-Герцеговину и так далее — полный титул монарха едва уместился бы на этой странице. Не так уж плохо жилось в этой империи, — по крайней мере, так нам кажется теперь, когда мы взираем на неё через сто лет, после двух мировых войн, после всего, что было, — как и вообще не так уж плох был этот затянувшийся «конец века». Один только был у него недостаток: это был конец. Гротескная Какания Роберта Музиля, дерзкое словечко, образованное от официальной аббревиатуры «k.-k.», *kaiserlich-königliche*, «императорско-королевская», и одновременно пахнущее латинским глаголом *casare*, который значит то же, что и русское слово «катать», — феодально-бюрократический монстр, страдавший старческим запором, не выдержал испытаний Мировой войны, рухнул, подобно трём другим империям евроазиатского региона — Рос-

сийской, Германской и Османской. Австрия, голова без тела, стала духовной провинцией, Германию ждал нацизм, огромная Россия впадала в варварство.

15. Парад культуры

Но, как и в России, предвестьем конца был пышный закат. Искусство и мысль существуют в психологическом и интеллектуальном поле, которое можно сравнить с физическим. В иные эпохи такие поля достигают необычайного напряжения. Искусство и мысль обречённой Австро-Венгрии, прежде всего в австрийской столице, переживали неслыханный расцвет. Вейнингер, вещавший: «ни одного большого художника, ни одного крупного мыслителя», был прав с точностью до наоборот — достаточно назвать некоторых из его современников и соотечественников. Философ Людвиг Витгенштейн, врач и психолог Зигмунд Фрейд, прозаики Франц Кафка, Роберт Музиль, Герман Брох, Артур Шницлер, Стефан Цвейг, поэты Георг Тракль, Гуго фон Гофмансталь, Райнер Мария Рильке, композиторы Густав Малер, Арнольд Шёнберг, Альбан Берг, художники Густав Климт, Оскар Кокошка, Альфред Кубин. И так далее, это лишь наскоро составленный список.

То обстоятельство, что больше половины этих избранников были евреями, имеет некоторое отношение к нашей теме. Юдофобство не есть следствие возрастания роли и влияния выходцев из еврейских семей в общественной жизни, экономике и культуре, но оно растёт вместе с ним. В

первой декаде XX века в Вене проживало 160 тысяч евреев, восемь процентов населения столицы. Прославившийся своей рачительностью бургомистр Карл Люгер, ставленник католической христианско-социальной партии, обрадовал своих еврейских сограждан изречением: «Es ist alles eins, ob man sie hängt oder köpft». («Какая разница, вешать их или рубить им головы».) Георг фон Шённерер, помещик из Нижней Австрии и вождь «всегерманского движения», додумался до идеи радикально очистить империю не только от евреев, но и от славян и вообще от всех расово чуждых элементов; вопрос: что осталось бы тогда от Дунайской монархии?

Некий утекший из монастыря, как Гришка Отрепьев, монах по имени Ланц фон Либенфельз возвестил о создании арийско-героического мужского ордена светловолосой и голубоглазой расы господ для расправы с неполноценными расами вплоть до их истребления — и вывесил (в 1907 году) над своим наследственным замком знамя со свастикой.

Некто Гитлер, сын таможенника, проживавший в австрийской столице, зарабатывая на жизнь срисовыванием архитектурных памятников, четверть века спустя излил накипевшие на сердце чувства в хаотическом сочинении «Моя борьба»: «С той поры, как я стал заниматься этим вопросом, когда впервые обратил внимание на еврея, Вена показалась мне в другом свете, чем раньше. Куда бы я ни шёл, я видел одних евреев, и чем больше я их видел, тем они резче отличались от остальных людей... Была ли вообще какая-нибудь гнусность, какое-нибудь бесстыдство в лю-

бой форме, особенно в культурной жизни, где бы не участвовал еврей?.. Я начал их постепенно ненавидеть».

16. Женщина 1900 года

Мы надеемся, что читатель не ожидает найти в этой статье полемику с концепцией и мировоззрением автора книги «Пол и характер». Время полемики давно прошло. Не говоря уже о том, что любые разумные доводы против половой вражды и расовой ненависти (и то, и другое всегда — знак внутреннего неблагополучия и роковой зависимости от предмета вражды) бьют мимо цели.

Чувствуется какая-то одержимость в том, что и как пишет о ненавистном ему племени этот ещё не видевший жизни, не ставший мужчиной, до головокружения заносчивый недоросль с задатками гениальности, вопреки его собственной уверенности в том, что гений и еврейство — две вещи несовместные. И эта одержимость сродни той, другой одержимости, которая, собственно, и подвигла его написать всю книгу: одержимости женщиной. Женщина, как и еврей, — ничто. Стоило ли вообще о ней разговаривать? Но оказывается, что это Ничто обладает жуткой притягательностью — колоссальной властью. Ничто демонизируется.

Разумеется, здесь просвечивают черты времени. «Ж» Отто Вейнингера — это кошмарный сон о женщине его эпохи.

Во все времена, замечает Ст. Цвейг («Вчерашний день. Воспоминания европейца»), мода произвольно выдаёт мораль и предрассудки общества. Дамский туалет на рубеже девятисотых годов: корсет из рыбьих костей перетягивает тело, придавая ему сходство с осой. Грудь и зад искусственно увеличены, ноги заключены в подобие колокола. На руках перчатки даже в знойный летний день. Высокий узкий воротничок до подбородка делает шею похожей на горлышко графина, причёску из бесчисленных локонов и косичек, уложенных завитками на ушах, венчает чудовищная шляпа. Всё это сооружение, называемое женщиной из приличного общества, неприступная башня в кружевах, бантах и оборках, распространяет удушливый аромат духов, воплощает монументальную добродетель и дышит запретной тайной — глубоко запрятанной и раздражённой чувственностью. Открытие психоанализа было бы невозможно без этой моды.

Такая женщина вставлена, как в золочёную раму, в перегруженный вещами и вещичками быт; она двигается, шурша своим колоколообразным одеянием, по комнатам, загромождённым вычурной мебелью, заставленным столиками и шкафчиками с безделушками, среди стен, увешанных полочками, тарелочками, фотографиями, между окнами в тяжёлых гардинах. Воспитанная в полном неведении касательно взаимоотношений полов, буржуазная барышня вручается в плотно упакованном виде мужу, который даже не знает толком, какого рода собственность он приобрёл, но то, что он приобрёл, есть именно собственность. В приличном обществе единственная карьера

женщины — брак; если не удалось вовремя высочить замуж, она становится предметом насмешек.

Что касается молодых людей, то покуда ты не приобрёл «положение», не окончил университет, не получил место в банковском доме, в адвокатской конторе, в торговой фирме, в страховом обществе, в государственном учреждении, ты не можешь думать о женитьбе. Да и куда спешить? К услугам начинающего чиновника, новоиспечённого юриста или коммерсанта — армия проституток. Так получается, что женщина предстаёт перед ним в двух ролях: либо девица на выданье, в перспективе — жена и мать, либо жрица продажной любви. И вечным кошмаром маячит перед ним риск подцепить дурную болезнь. Ведь ещё не открыт сальварсан.

Чарующая Вена на переломе столетия, этот, как сказал Брех, «весёлый апокалипсис» — это последние дни буржуазной Европы; ещё каких-нибудь десять, пятнадцать лет, и всё рухнет. Театрализованная сексуальная мораль общества в одно и то же время игнорирует, осуждает, разрешает и поощряет то, что скрыто за сценой, — спектакль невозможен без закулисного мира. Да и не такой уж это, по правде говоря, секрет. Тротуары кишат полудевами, разгуливающими туда-сюда, цены доступны, свидание обходится ненамного дороже, чем коробка сигарет. Это самый низший разряд. За ним следуют певицы, танцовщицы, «девушки для развлечения» в кофейнях и барах. Ещё выше на иерархической лестнице — дамы полусвета, загадочные гости сомнительных салонов и, само собой, персонал многочисленных борделей.

17. Философия как наваждение

Вернёмся к книге, — об её «идейных истоках», связях с современной и классической немецкой философией, с Кантом, Шопенгауэром, с оперной драматургией Вагнера написано немало. Здесь стоит указать на одну, впрочем, бросающуюся в глаза, аналогию. Оппозиция М и Ж слишком напоминает другую пару, традиционную для немецкого философствования и философического романа: дух и жизнь, интеллект и бессознательная своеобразная стихия, которую Ницше (и следом за ним молодой Томас Манн) называет жизнью, а Бергсон во Франции — жизненным порывом. Но если в книге Вейнингера разуму — или, скорее, рассудку — отдаётся решительное предпочтение перед стихией, если благородный мужской интеллект у него бесконечно выше анархического бабьего начала, то в двадцатом веке многочисленные эпигоны Ницше становятся певцами иррациональности, «философия жизни» приобретает агрессивно-вульгарный, «силовой», профашистский характер; Вейнингер оказывается в кругу её зачинателей.

Книга «Пол и характер» предвосхищает ряд сочинений, которые выразили совершенно новое настроение: это книги апокалиптические, вышедшие почти одновременно после Первой мировой войны. «Закат Европы» Освальда Шпенглера, «Дух утопии» Эрнста Блоха, «Дух как противник души» Людвиг Клагеса, ещё несколько. В этих объёмистых томах, восхитивших публику блеском стиля и неожиданностью обобщений, излучаю-

щих какое-то мрачное сияние, есть то, что можно назвать насильственной тотальностью. Они притязают на самый широкий охват истории и культуры, завораживают и поработывают читателя своим авторитарным тоном и навязывают ему под видом философии и науки некую недоброкачественную мифологию.

18. Тень и голос

«Об одном хочу тебя попросить: не старайся слишком много узнать обо мне... Возможно, когда-нибудь я тебе расскажу об этом. Кроме той жизни, о которой ты знаешь, я веду две жизни, три жизни, которых ты не знаешь» (письмо А. Герберу, август 1902 года).

Ненаписанная пьеса о герое этих страниц — два действующих лица: О. В. и некто Другой — Doppelgänger, неотвязный спутник. Сцена, напоминающая пьесу Леонида Андреева «Чёрные маски», где полубезумный герцог Лоренцо сражается со своим вторым «я» и убивает его. То есть убивает себя.

156 Другой, чей шёпот шелестит в мозгу, Другой, напоминающий Тёмного двойника — ампула из театра масок глубинной психологии Юнга, — не я, Другой! Тот, кто воплощает всё пошлое и ненавистное, постыдный низ, потёмки души; кто, как некий посторонний, присутствует в тягостных снах. Это он несёт с собой анархию, безнравственность, хаос. Между тем как Я — стою на страже морали, разума и порядка, Я сам — логика

и порядок. Я — мужчина. Он — моя вина и гибель. Он тащит меня к женщине. Он напоминает мне о моём происхождении, которого я стыжусь. Он мешает мне сознавать себя равным в обществе, единственно достойном меня. Истребить его!

Вейнингер разоблачает женщину, отрешивается от еврейства. Но отделаться от себя невозможно, потому что Он — это Я. Ненависть к тёмному спутнику всё ещё написана на лице умершего, — любящий Гербер, который отыскал его в морге венской Общей больницы утром в половине одиннадцатого 4 октября 1903 года, вспоминает:

«Ни единого намёка на доброту, ни следа святости и любви не было в этом лице... нечто ужасное, нечто такое, что вложило в его руку оружие смерти, — мысль о Зле. Но спустя несколько часов облик его изменился, черты смягчились... и, взглянув в последний раз на мёртвого друга, я увидел глубокий покой вечности».

Ненависть породила теорию, способ самоотчуждения, но вернулась к её создателю, умертвив его на сорок лет раньше, чем ему полагалось умереть.

Эпилог

Биограф Кафки Клаус Вагенбах рассказывает, что, приехав в Прагу, он сумел разыскать почти все улицы и дома, где жил или работал Кафка. К великому счастью, город не пострадал во время

войны. Но когда исследователь приступил к поискам людей, знавших Кафку, и поискам его родни, на всех архивных карточках под именем, фамилией, местом рождения стоял один и тот же штамп: ОСВЕНЦИМ.

Кафка был на три года моложе Вейнингера. Ему повезло, он умер от туберкулёза, не дожив до газовой камеры. Вейнингеру тоже повезло.

Десять праведников в Содоме

История одного заговора

Игра в рулетку

Некоторые ключевые моменты истории заставляют поверить, что миром правит случай. Столяр-краснодеревщик Георг Эльзер трудился много ночей в подвале мюнхенского пивного зала «Бюргерброй», замуровывая в основание столба, подпирающего потолок рядом с трибуной, весьма совершенную, собственного изготовления бомбу замедленного действия с двумя часовыми механизмами. Адская машина детонировала 8 ноября 1939 года, в годовщину неудавшегося путча 1923 года, в десятом часу вечера, точно в назначенное время. В переполненном зале, внизу и на балконах, сидело три тысячи «старых борцов». Было известно, что фюрер говорит как минимум полтора часа. К полуночи он должен был вылететь в Берлин. Но прогноз погоды был неблагоприятен. Аdjутант связался по телефону с вокзалом, к уходящему в половине десятого берлинскому поезду был подцеплен салон-вагон фюрера. Речь в пивной пришлось сократить и начать на полчаса

раньше. В восемь часов грянул Баденвейлерский марш, загремели сапоги, в зал с помпой было внесено «кровавое знамя». Гитлер взошёл на трибуну — и успел покинуть пивную за восемь минут до взрыва.

Если бы не счастливая — следовало бы сказать: несчастливая — случайность, вместе с обвалившимся потолком, с разнесённой в щепы трибуной взрыв, уничтожив оратора, угробил бы и его режим. Только что начатая война была бы прекращена. Германия не напала бы на Советский Союз, не была бы разрушена и расчленена, не было бы Восточного блока, холодной войны и так далее.

Если бы, говорит Паскаль, нос Клеопатры был чуть короче, история Рима была бы иной. Можно нанизывать сколько угодно таких «если бы». Стрелочник (если предположить существование подобного метаисторического персонажа) по недоразумению или капризу перевёл стрелку не в ту сторону, и поезд свернул на другой путь. Что такое случай? То, что по всем статьям не должно было случиться. И что, тем не менее, случилось.

160

Что было бы, если бы 20 июля 1944 года в Волчьей норе, ставке фюрера в Восточной Пруссии, судьба не спасла нацистского главаря, если бы он, наконец, испустил дух, вместо того чтобы отделаться мелкими повреждениями? Осуществилась бы надежда заговорщиков отвести катастрофу, предотвратить оккупацию, сохранить суверенность страны? Нет, конечно: судьба Германии была решена. Но война закончилась бы на десять месяцев раньше. Убитые не были бы убиты, не погибли бы города, вся послевоенная история всё-таки выглядела бы немного иначе.

Сопrotивление

О партии Гитлера нельзя сказать (как о партии большевиков в России накануне октябрьского переворота), что в марте 1933 года она представляла собой незначительную кучку фанатиков, и всё же на выборах ей не удалось собрать большинство голосов. Семь миллионов избирателей голосовало за социал-демократов, шесть миллионов за католическую партию центра и мелкие демократические партии, пять миллионов за коммунистов. То, что национал-социализм и в первые месяцы, и в последующие 12 лет «тысячелетнего рейха» встречал более или менее активное сопротивление, неудивительно: несмотря на симпатии самых разных слоёв населения, у него оставалось немало противников. Вместе с тем это сопротивление, от глухой оппозиции до покушений на жизнь диктатора, достойно удивления, ибо оно существовало в условиях режима, казалось бы, подавившего в зародыше всякую попытку сопротивляться. Тот, кто по опыту жизни знает, что такое тоталитарное государство, знает, что значит перечить этому государству. Два фактора — между которыми, впрочем, трудно провести границу — обеспечивают его монолитность: страх и энтузиазм. Страх перед вездесущей тайной полицией и восторг перед сапогами вождя.

Заговор 20 июля, которому теперь уже более полувека, не был единственной попыткой радикально изменить положение вещей. Он не был единственным примером внутреннего сопротивления нацизму. Вскоре после капитуляции писатель Ганс Фаллада раскопал в архиве гестапо дело

берлинского рабочего Отто Квангеля и его жены: оба рассылали наугад почтовые открытки-воззвания против Гитлера и войны; случай, послуживший основой известного романа «Каждый умирает в одиночку». О мюнхенской студенческой группе «Белая роза», о расправе с её участниками стало известно тоже в первые послевоенные годы. О многих других — опять-таки в самых разных слоях населения — узнали только в самое последнее время.

И всё же Двадцатое июля не имело себе равных по масштабам подготовки и разветвлённости. В заговоре участвовали люди разного состояния, мировоззрения и происхождения: юристы, теологи, священники, дипломаты, генералы; консерваторы, националисты, либералы, социал-демократы; выходцы из среднего класса и знать. То, что их объединяло, было важнее политических расхождений и выше сословных амбиций. Некоторые из них пережили в юности увлечение национал-социализмом. Другие не принимали его никогда. Среди многочисленных участников комплота не оказалось ни одного осведомителя, — случай неслыханный в государстве и обществе этого типа. Люди 20 июля хорошо знали, что их ждёт в случае неудачи. Накануне решающего дня многих не оставляло предчувствие поражения. Хотя Германия вела уже оборонительные бои, агрессивная мощь рейха была далеко ещё не сломлена. Заговорщики знали, что они будут клеймены как изменники родины. Но, как сказал Клаус Штауфенберг, «не выступив, мы предадим нашу совесть».

Не убий

Истоки заговора восходят к середине тридцатых годов. Время, наименее благоприятное для успеха: режим шагал от триумфа к триумфу. Мистическая вера в фюрера стала чуть ли не всенародной. За несколько лет до нападения на Польшу и до начала Второй мировой войны оппозиция выработала планы будущего устройства Германии. Но похоронить нацизм могли только военные. Это означало нарушить присягу; не каждый мог через это переступить. Традиция запрещала прусскому и немецкому офицеру вмешиваться в политику. Его первой и второй заповедью были верность и повиновение. Государственными делами пусть занимаются другие; долг солдата — защищать отечество. Противоречие усугубилось с развитием событий: если страна воюет, как может он нанести ей удар в спину?

Другую этическую проблему представляло тираноубийство. Было ясно — или становилось всё ясней, — что до тех пор, пока фюрер жив или, по крайней мере, не обезврежен, изменить существующий строй невозможно. Убийство же, вдобавок почти неизбежно сопряжённое с гибелью других, противоречило христианским убеждениям многих участников заговора, не исключая самых видных, например, таких, как граф Мольтке. С другой стороны, начавшаяся война чрезвычайно затруднила доступ к окружению диктатора. Гитлер уже не выступал публично. Большую часть времени он проводил не в Берлине, а в надёжно защищённых убежищах, вдали и от уязвимого для авиации тыла, и от фронта. Пробриться туда мог лишь заслуженный и проверенный офицер

высокого ранга. Как мы знаем, такой человек нашёлся.

Пока ещё только генералы

К предыстории 20 июля относятся несколько неосуществлённых проектов переворота. Мы можем сказать о них кратко. В 1938 году, с мая по август, начальник генштаба сухопутных войск генерал-полковник Людвиг Бек в нескольких памятных записках, направленных вождю и рейхсканцлеру (официальное титулование Гитлера) через посредство верховного главнокомандующего Браухича, пытался убедить фюрера и его окружение отказаться от подготовки к войне. В одном из этих писем Бек даже предупреждал, что если война будет начата, высший генералитет в полном составе подаст в отставку. Но диктаторам не дают советов. Гитлер ответил, что он сам знает, как ему нужно поступать. Что касается забастовки генералов, то осторожный Браухич предпочёл скрыть от фюрера эту часть письма. Бек ничего не добился, кроме того, что был снят со своего поста, — позже мы встретим его среди главных участников заговора.

164

Преемником Бека (с его согласия) стал генерал артиллерии Франц Гальдер, человек более решительного образа мыслей. Вместе с группой единомышленников он разработал детальный план путча.

Осенью 1938 года ещё не все были согласны с предложением командующего третьим берлинс-

ким военным округом генерала, впоследствии генерал-фельдмаршала Эрвина фон Вицлебена физически устранить фюрера. Гальдер и офицеры контрразведки Остер и Гейнц поддержали Вицлебена. План состоял в следующем. По приказу Вицлебена части 3-го армейского корпуса занимают улицы и ключевые учреждения столицы; вместе с чинами своего штаба под защитой офицерского отряда во главе с Гейнцем Вицлебен снимает наружную и внутреннюю охрану имперской канцелярии и, минуя Мраморный зал, через коридор проникает в комнату Гитлера. Арест вождя, после этого инсценируется незапланированное убийство: даже если отряды СС против ожидания не окажут сопротивление путчистам, Гейнц и его подчинённые организуют вооружённый инцидент, во время которого Гитлер будет убит.

План не удалось реализовать из-за приезда британского премьера Чемберлена к Гитлеру в Берхтесгаден. За этим неожиданным визитом и конференцией представителей западных держав в Бад-Годесберге под Бонном последовало Мюнхенское соглашение от 29 сентября 1938 года; война оказалась отсроченной. Но заговорщики не оставили своих намерений. Новый проект переворота был разработан в следующем году. Генерал Гальдер, по должности многократно посещавший рейхсканцелярию, носил в кармане пистолет, чтобы собственноручно прикончить вождя. В Цоссене, к югу от Берлина, где находилось верховное командование, в бронированном сейфе хранился подготовленный Остером стратегический план восстания, текст обращения к народу и армии, состав нового правительства, список нацистских

руководителей, подлежащих немедленному аресту и, очевидно, расстрелу: Гитлер, Гиммлер, Риббентроп, Гейдрих, Геринг, Геббельс.

Крейсау

В 1867 году Гельмут граф фон Мольтке, победитель австрийцев и саксонцев в битве под Кениггрецом и будущий победитель во франко-прусской войне, получил от короля дотацию на приобретение бывшего рыцарского владения Крейсау близ городка Швейдниц в Нижней Силезии (ныне — территория Польши). В старинном, много раз перестроенном четырёхэтажном доме, который всё ещё по старой памяти называли замком, родился в 1907 году племянник бездетного фельдмаршала Гельмут Джеймс граф фон Мольтке-младший. После смерти отца он унаследовал поместье.

Мольтке был высокий худощавый человек северного типа, сероглазый, с зачёсанными назад светлыми волосами, с красивым прямоугольным лбом. Его дед с материнской стороны был Chief Justice (главный судья) в Южно-Африканском Союзе, — внук перенял от него профессию юриста. Он получил юридическое образование в Оксфорде и позднее часто бывал в Англии, стал немецким и английским адвокатом в Берлине. Во время войны Мольтке служил в юридическом отделе иностранной контрразведки при верховном командовании вермахта. (Напомним, что контрразведку возглавил адмирал Вильгельм Канарис, расстрелянный как участник сопротивления поле-

вым трибуналом СС весной 1945 года в концлагере Флоссенбюрг.)

Рейх начал Вторую мировую войну 1 сентября 1939 года. К этому времени относятся первые проекты свержения национал-социалистического режима, составленные Гельмутом Мольтке и отпечатанные на машинке его женой Фрейей; в дальнейшем она перепечатывала все документы и умудрилась их сохранить. Примерно с 1940 года в усадьбе Крейсау, в старом замке, а чаще в соседнем небольшом доме, который назывался Бергхауз, собирались друзья Мольтке. Встреча с дальним родственником, юристом и офицером верховного командования Йорком фон Вартенбургом положила начало регулярным собраниям. Весной, на Троицу, и осенью приезжало 10—12 человек. Гостей встречали с экипажем и фонарями на маленькой железнодорожной станции. Впоследствии в протоколах гестапо эти собрания, в которых участвовало в общей сложности около 40 человек, обозначались как Крейсауский кружок. С этим названием они вошли в историю.

Куда деть фюрера?

Здесь нужно упомянуть некоторых участников из числа тех, кто составил ядро кружка Крейсау. Адам фон Тротт цу Зольц, потомок старого гессенского рода, учившийся, как и Мольтке, в Оксфорде, занимал, несмотря на свою молодость, один из ключевых постов в министерстве иностранных дел. Видным дипломатом был также по-

сольский советник Ганс-Бернд фон Гефтен. Учитель гимназии Адольф Рейхвейн в прошлом состоял в социал-демократической партии и был профессором педагогической академии. Бывшим социал-демократом был Юлиус Лебер, сын рабочего из Эльзаса, во времена Веймарской республики депутат рейхстага; он успел отсидеть четыре года в концлагере, затем возобновил контакты с бывшими товарищами по разгромленной партии, связался с обоими мозговыми центрами сопротивления — Крейсауским кружком и группой Герделера (о которой будет сказано ниже), познакомился со Штауфенбергом — будущей центральной фигурой мятежа, вместе с Рейхвейном пытался наладить связь с коммунистическим подпольем. Карл Дитрих фон Трота был референтом министерства экономики. Некогда занимавший пост заместителя начальника берлинской полиции Фриц-Дитлоф граф фон дер Шуленбург цу Циглер (племянник германского посла в Москве графа Шуленбурга-старшего, который тоже был участником сопротивления) после начала войны оставил ряды нацистской партии, был штабным офицером. Писатель Карло Мирендорф не дожил до 20 июля: он погиб во время воздушного налёта в Лейпциге. В советском лагере для интернированных через три года после войны, как предполагают, погиб один из активных членов Крейсауского кружка Хорст Эйнзидель. Гаральд Пельхау был тюремным священником в Тегеле (Берлин). Протестантский теолог Эйген Герстенмайер, деятель Исповедной церкви, оппозиционной по отношению к гитлеризму, сравнительно поздно вступил в кружок, но стал одним из его главных

действующих лиц. Участниками дискуссий в Крейсау были отцы иезуиты Лотар Кениг, Ганс фон Галли и Альфред Дельп, которому предложил войти в кружок провинциал ордена Аугустин Реш. Петер граф Йорк фон Вартенбург, из семьи прусских военачальников (предок был союзником Кутузова в войне с Наполеоном), нами уже назван.

Краткая выдержка из «Принципов будущего устройства», датированных августом 1943 года, может дать представление о характере предначертаний Крейсауского кружка:

«Правительство Германской империи видит основу для нравственного и религиозного обновления нашего народа, для преодоления ненависти и лжи, для строительства европейского сообщества наций — в христианстве... Имперское правительство исполнено решимости осуществить следующие требования. Растоптанное право должно быть восстановлено, правопорядок должен господствовать во всех сферах жизни. Гарантируется свобода веры и совести. Существующие ныне законы и положения, которые противоречат этому принципу, отменяются... Право на труд и собственность берётся под защиту государства и общества вне зависимости от расовой, национальной и религиозной принадлежности».

169

Можно ли претворить в жизнь эти принципы, не покончив с существующим строем? Свергнуть же этот строй невозможно, не покончив с фюрером. Тем не менее граф Мольтке, в отличие от большинства членов кружка, был против покушений на Гитлера. Мольтке считал, что после поражения — а оно представлялось неизбежным —

убийство Гитлера и генеральский путч возродят старый миф об «ударе в спину», измене в тылу, из-за которой будто бы Германия проиграла Первую мировую войну.

До Урала и дальше

Одна из многих вышедших в последние десятилетия книг о Мольтке и его окружении называется «Новый порядок группы сопротивления в Крейсау». Члены кружка противопоставили будущее Германии и Европы, каким они хотели его увидеть, «новому порядку» — так именовался на жаргоне пропаганды режим порабощённого Гитлером континента.

Но аппетит, разгоревшийся после первых побед, не довольствовался Европой, проекты вождя, которые правильной было бы назвать горячечными грёзами, становились всё грандиозней и теперь уже простирались далеко за её пределы. После разгрома Англии, главного врага, вся огромная и разбросанная по свету Британская империя окажется под владычеством Германии. Мир будет состоять из трёх регионов: Северная и Южная Америка под контролем США, Азия в ведении Японии, Европа, а также бывшие британские и французские колонии в Африке и за океанами — в руках Германии. Россия как самостоятельное государство существовать не будет. Индия и Урал — граница сфер влияния Германии и Японии. Гигантские работы по отстраиванию столицы мира — нового Берлина — по проектам лейб-

архитектора Шпеера. Кроме того, восемьдесят четыре тысячи тонн металла должны быть поставлены для строительства величественных сооружений в «столице движения» Мюнхене, городе партийных съездов Нюрнберге, австрийском Линце, где вырос фюрер, и ещё в 27 городах; всё это, не дожидаясь конца войны. В 1950 году будет одержана окончательная победа. Повсеместно пройдут парады, улицы городов заполнят ликующие народные массы и так далее. Особые планы были сочинены для оккупированных стран.

Любопытно сравнить эту дикую футурологию с прогнозами немецкой прессы после 1945 года, когда все или почти все более или менее крупные города Германии лежали в развалинах. Предполагалось, к примеру, что Франкфурт будет восстановлен (если это вообще удастся) к концу века. Немецкая промышленность не возродится, Германия станет второстепенной сельскохозяйственной страной.

Вернёмся к началу войны. Абсолютной гарантией успеха в глазах Гитлера были мощь и превосходство германского оружия. Капитуляция наследственного врага — Франции, которая ещё совсем недавно считалась сильнейшим государством западного лагеря, и триумфальный марш по странам Европы как будто оправдывали эту уверенность. Между тем военачальники и военные эксперты понимали, что географическое положение рейха в центре Европы в стратегическом отношении обещает не одни лишь выгоды. Почти неизбежная война на два, а то и на три фронта может оказаться затяжной; с Россией, страной громадных расстояний, сурового климата и плохих до-

рог, связываться опасно; сломить морское могущество Великобритании не просто, а вступление в войну Соединённых Штатов Америки с их неисчерпаемыми ресурсами сделает победу вовсе невозможной. Люди антинацистского подполья, офицеры и штатские, ясно видели, что война, так успешно начавшаяся, будет проиграна, и притом с такими потерями, которые не идут ни в какое сравнение с катастрофой 1918 года.

Берлин

Вторым мозговым центром заговора, как уже сказано, был кружок Герделера в Берлине. Карл Фридрих Герделер, сын депутата прусского ландтага, родился в 1884 году в Шнейдемюле, главном городе провинции Познань — Западная Пруссия (нынешнем центре польского воеводства Пила), и был воспитан в старорежимных традициях трудолюбия, протестантской умеренности, порядочности, безупречной честности, почитания памяти Фридриха Великого и верности монархии Гогенцоллернов. Как и отец, он стал политиком либерально-консервативного толка, во времена Веймарской республики был вторым бургомистром Кёнигсберга, затем обер-бургомистром Лейпцига, где его застала национал-социалистическая революция. Опыт, репутация, заслуги сделали Герделера тем, что в Германии называется «гонорациор» (престижный общественный деятель), — отсюда до оппозиции Гитлеру был один шаг.

Летом 1936 года, когда в стране наметилась кризисная финансово-экономическая ситуация, Герман Геринг, к многочисленным чинам и постам которого присоединилась должность «имперского уполномоченного по четырёхлетнему плану», назначил экспертом Герделера. Рекомендации Герделера повергли Геринга по меньшей мере в изумление, — следовать им значило круто повернуть внутривластительский курс. В это время Герделер ещё предполагал у властителей здравый смысл и честные намерения. Спустя год-другой от этих иллюзий не осталось и следа.

К концу сорок первого года война уже пылала вовсю. Сто девяносто моторизованных дивизий вермахта, 3 700 танков и около 5 000 боевых самолётов вторглись в Россию. Армейская группа «Центр» приблизилась к Москве, в ходе сражений под Киевом, Брянском и Вязьмой в плену оказался 1 миллион 300 тысяч советских солдат. Японский коронный совет принял решение начать военные действия против Америки, Великобритании и Нидерландов, последовало нападение на Пирл-Харбор. После начала русского контрнаступления Гитлер сместил генерал-фельдмаршала Браухича с поста верховного главнокомандующего и назначил верховным себя. К концу года мы находим Карла Герделера в роли одной из центральных фигур антигитлеровского комплота. Герделеру удалось наладить связь с разными ячейками сопротивления. В Берлине вокруг него сплотилась кучка единомышленников, среди них были отставной генерал Людвиг Бек, дипломат, в прошлом посол в Копенгагене, Белграде и Риме Ульрих фон Гассель, прусский министр финансов Иоганнес Попиц. Возникли контакты с предста-

вителями «христианских профсоюзов» и Фрейбургским оппозиционным кружком университетских профессоров. Нити от кружка Герделера протянулись к генеральному штабу армейской группы «Центр», где занимал высокий пост Геннинг фон Треско, о котором пойдёт речь особо.

Два сценария

Крейсауский кружок состоял по большей части из молодых людей; в берлинском кружке задавали тон «старики» — не только в прямом смысле. Между господами из кружка Герделера, которых Мольтке иронически называл «их превосходительствами», и группой Крейсау существовали значительные расхождения. Говоря схематически, берлинский кружок был консервативным и националистическим, крейсауский — либеральным, отчасти социал-демократическим и прозападным. Герделер не был приверженцем демократии, во всяком случае в той её форме, которая в наши дни получила название массового общества. Веймарская республика, первое немецкое демократическое государство, не внушала ему симпатий. Сброшенной нацизм Германии предстояло вернуться к традициям империи Бисмарка. Её границы должны были соответствовать границам накануне Первой мировой войны, территориальные потери, нанесённые Версальским договором, — тут их превосходительства сходились с Гитлером — надлежало восстановить. Другими словами, будущая Германия должна была включать Эльзас и Лота-

рингию, а «польский коридор», отделивший Восточную Пруссию от основной территории рейха, должен был исчезнуть с политической карты. Австрия, аннексированная в 1938 году, и населённый немцами итальянский Южный Тироль тоже должны были принадлежать «нам». Для немецких евреев — любопытная деталь — предлагался сионистский рецепт: «своё государство». (Преступления против евреев в большой мере определили оппозиционность Герделера. Они же побудили Мольтке, Йорка фон Вартенбурга, адмирала Канариса, да и многих других сделать решающий выбор между конформизмом и сопротивлением.)

Таким образом, Германии предназначалось и после войны оставаться обширнейшим и могучим государством Западной Европы. В январе 1943 года был составлен список членов будущего правительства: Бек должен был стать главой государства, Герделер — председателем совета министров. Герделер набросал проект конституции послевоенной Германии, по которому исполнительной власти — канцлеру и совету министров — предоставлялись значительные преимущества перед рейхстагом (парламентом). Существование политических партий не предусматривалось.

Впрочем, и в кружке Мольтке были люди, которым, при всём их преклонении перед британской демократией, не улыбалась многопартийная система; вместо партий предлагалось выборное представительство общин. В целом, однако, представления Крейсауского кружка о будущей свободной и децентрализованной Германии — равноправном члене европейского союза наций, может быть, даже с единой для всей Европы (но без

России и Англии) валютой и общими вооружёнными силами — были, конечно, гораздо ближе к нынешнему облику и политическому курсу Федеративной Республики, чем имперско-националистический проект Герделера, Бека и других. Зато одним из общих пунктов был «ордолиберализм», под которым подразумевали частнокапиталистическую экономику под контролем государства с целью не допустить хищническое и безудержное предпринимательство. После войны некоторые идеи «ордолиберализма» воплотились в реформе Эрхардта, с которой началось экономическое чудо.

1942 год

Группа «Центр» получила это название первого апреля 1941 года вместе с назначением взять летом Москву; командовал армейской группой генерал-фельдмаршал Федор фон Бок, первым офицером (I-а) генштаба был родственник Бока, 40-летний подполковник Геннинг фон Треско. Прусский дворянин Треско (Тресков) был выходцем из военной семьи и женился на дочери военного министра. В юности он, подобно многим, сочувствовал национал-социализму, в «день Потсдама» 21 марта 1933 года, день символической встречи Гитлера с Гинденбургом, маршировал во главе своего батальона мимо нацистского вождя и престарелого фельдмаршала, последнего президента погибшей республики. Довольно скоро энтузиазм сменился глубоким отвращением к режиму

убийц, а с началом войны сюда добавилось отчётливое понимание того, что не могли не видеть высшие офицеры вермахта: во главе вооружённых сил стоит дилетант; «величайший стратег всех времён и народов» — всего лишь бывший унтер. Правда, на Восточном фронте ему противостоял другой дилетант, никогда не воевавший, не имеющий военных знаний и лишённый каких-либо следов полководческого таланта.

Война усилила ощущение раздвоенности. С одной стороны, Треско участвовал в разработке военных действий, восхищался тактическим гением Манштейна, творца «серповидной операции», решившей судьбу Франции; сам он быстро выдвинулся, слыл способным офицером. С другой стороны — каждая новая победа была победой Гитлера. От группенфюрера СС Артура Небе, который был давним недоброжелателем вождя, Треско узнал правду о концентрационных лагерях. В Борисове, в непосредственной близости от главной квартиры, латышское подразделение СС учинило кровавую расправу над евреями, и это было отнюдь не самоуправством. К началу зимы сорок первого года Треско удалось сколотить в штабе группу противников режима, адъютант и надёжный друг Фабиан фон Шлабрендорф был командирован в Берлин с тайной миссией — разузнать о других группах в тылу. Так возникли связи с кружком Герделера, где от проектов будущего устройства перешли к планам государственного переворота.

Павших в бою воинов уносят на крылатых конях в Валгаллу девы-валькирии. План «Валькирия» разработал генерал от инфантерии Фридрих

Ольбрихт. Главными очагами восстания должны были стать Кёльн, Мюнхен, Вена и, конечно, Берлин. Войска, расквартированные во Франкфурте-на-Одере, займут восточную половину столицы, дивизия «Бранденбург» изолирует ставку фюрера в Восточной Пруссии. Летом следующего, 1942 года Треско поручил своему подчинённому, штабному офицеру I-с Рудольфу Кристофу барону фон Герсдорфу заняться не совсем обычным делом — приготовлением взрывчатки. Герсдорф догадывался, с какой целью; официально считалось — для борьбы с партизанами.

Опять повезло

В последний день января и в начале марта 1943 года капитулировали южная и северная группа окружённых под Сталинградом и в самом городе войск; в плен попали 21 немецкая и 2 румынские дивизии. Было убито 150 тысяч немецких солдат, 91 тысяча сдалась в плен во главе с командующим Шестой армией Фридрихом Паулюсом, за день до капитуляции получившим звание генерал-фельдмаршала (из них вернулось домой после войны лишь около 6 тысяч). Гитлер объявил государственный траур. Геринг, патологически тучный, широкозадый и разряженный, как павлин, патетически сравнивал Сталинград с Фермопилами. Доктор Геббельс провозгласил тотальную войну. Германия всё ещё контролировала огромную территорию от греческого архипелага до Норвегии и от Пиренеев до Прибалтики. В тылу у

воюющей армии находились западные и южные области Европейской России, Украина, Крым, Северный Кавказ, на Эльбрусе развевался флаг со свастикой. Но вера в победу, вера подавляющего большинства немецкого населения, была потрясена.

В феврале и марте Гитлер совершал инспекционную поездку по ближним тылам, был в Запорожье и Виннице. Геннингу фон Треско удалось добиться, чтобы фюрер дополнительно посетил штаб группы «Центр» под Смоленском. На аэродроме Гитлера со свитой, лейб-врачом и поваром встретили Гюнтер фон Клуге, преемник Бока на посту командующего, и первый офицер штаба, теперь уже полковник Треско. После совещания с армейскими командующими и штабными чинами состоялся обед в офицерском казино. Треско намеревался застрелить Гитлера. Это оказалось невозможным. Перед возвращением на аэродром Треско попросил начальника сопровождающей команды взять с собой в самолёт пакет с двумя бутылками коньяка в подарок одному офицеру в ставке верховного главнокомандующего. К самолёту фюрера подъехал Шлабрендорф с пакетом, — в бутылках, снабжённых английским детонационным устройством, находилась смесь тетрила и тринитротолуола.

Короткие проводы, Фокке-Вульф «Кондор» с Гитлером на борту и второй самолёт со свитой исчезли в облаках. Подробности этой истории описал Шлабрендорф, которому посчастливилось дожить до конца войны. Взрыв должен был произойти в воздухе через полчаса после старта. Через два часа поступило сообщение о том, что фюрер

благополучно приземлился в ставке. Офицер, для которого якобы предназначался коньяк, не был посвящён в заговор. Полковнику Треско удалось дозвониться до начальника сопровождающей команды, произошла, сказал он, путаница, и пакет не надо передавать по адресу. Шлабрендорф срочно выехал в ставку в Восточную Пруссию, передал настоящий коньяк, получил назад невскрытый пакет с адской смесью и убедился, что детонатор не сработал.

Новые попытки

В День памяти героев фюрер пожелал осмотреть выставку захваченных на русском фронте трофеев. Это было через восемь дней после неудачи в самолёте, 21 марта 1943 года. Выставка в берлинском Цейхгаузе была устроена командованием всё той же армейской группы «Центр». Вести почётных гостей и давать объяснения должен был откомандированный с фронта упомянутый выше барон Герсдорф. Теперь он был уже посвящён в планы заговорщиков и даже выразил готовность пойти на риск погибнуть самому. В левом внутреннем кармане у Герсдорфа помещалось миниатюрное взрывчатое устройство с кислотным детонатором, рассчитанным на короткое время — 10 минут; террорист предполагал, выбрав удобный момент, раздавить в кармане ампулу с кислотой, подложить бомбу поближе к своей жертве, а может быть, и взорваться вместе с вождём.

В это время в штабе под Смоленском Треско, с часами в руках, слушал по радио репортаж о праздновании в Берлине Дня памяти героев. И снова ничего не получилось. Гитлер спешил и, избежав выставку, ускользнул из Цейхгауза. Герсдорф, который уже включил детонатор, успел в уборной обезвредить бомбу.

Можно кратко упомянуть о других попытках. Аксель фон дем Бусше-Штрейтхорст, 24-летний капитан, увешанный боевыми наградами (между прочим, ставший на фронте свидетелем того, как украинские СС в Дубно расстреляли перед заранее вырытым могильным рвом пять тысяч евреев), вызвался взорвать себя и Гитлера во время демонстрации новых моделей форменной одежды для армии. Заговорщики ждали этой минуты, чтобы в короткое время овладеть Берлином. Но за день до покушения вагон с экспонатами был разбит при воздушном налёте. Бусше приготовился к новому покушению, — вождь неожиданно отбыл на дачу-крепость Берггоф в Баварских Альпах. Немного времени спустя Бусше был тяжело ранен на фронте, потерял ногу. Заменить его должен был Эвальд Генрих фон Клейст, потомок семьи, из которой вышел великий поэт и драматург Генрих фон Клейст. Гитлера предполагалось застрелить во время совещания в Берхтесгадене. По какой-то причине в последний момент охрана не пропустила Клейста на дачу.

Неудачи не сломили волю полковника Треско, они лишь придали ей траурный оттенок героического пессимизма в духе Ницше. Что бы ни случилось — нужно шагать навстречу року. Очередной, подготовленный Ольбрихтом и другими план «Валькирия IV» предусматривал в качестве глав-

ной опоры восстания армию резерва, сосредоточенную вблизи нервных узлов империи. Были заготовлены приказы командирам частей. Оставалось устранить величайшего стратега.

Фабиан фон Шлабрендорф, один из немногих оставшихся в живых участников заговора, сохранил для историков слова Треско: «Гитлера надо попытаться убить *coûte que coûte* (любой ценой). Но даже в случае неудачи нужно тем или иным путём осуществить государственный переворот. Дело не только в том, чтобы найти практический выход из тупика, дело в том, что немецкое движение сопротивления должно ценой жизни совершить этот прыжок. Всё остальное несущественно... Бог обещал Аврааму не уничтожить Содом, если там найдётся десять праведников. Будем надеяться, что благодаря нам Господь не испепелит Германию. Все мы готовы к смерти».

Армия и режим

Года за два до описанных событий на горизонте появился майор Шенк фон Штауфенберг.

182 Швабский род Штауфенбергов впервые упомянут в грамоте 1317 года. В конце XVII столетия баварская линия рода получила баронские привилегии, двести лет спустя Штауфенберги стали графами. Клаус Филипп Мария Шенк граф фон Штауфенберг родился в 1907 году в Йеттингене, родовом поместье между Ульмом и Аугсбургом. Его брат-близнец умер на другой день после родов; младшие братья были тоже близнецами. Мать

Клауса была балтийской дворянкой, праправнучкой прусского полководца Гнейзенау. Отец — штаалмейстер и камергер, впоследствии обергофмаршал вюртембергского двора. Можно добавить, что Клаус Штауфенберг приходился двоюродным братом графу Йорку фон Вартенбургу, одной из главных фигур Крейсауского кружка.

Восемнадцати лет Штауфенберг поступил в конный полк, затем окончил кавалерийскую школу в Ганновере. Несколько позже, в числе многообещающих молодых офицеров, с перспективой карьеры в генеральном штабе, он был направлен в берлинскую военную академию.

Это был высокий (1 м 85 см), очень стройный, темноволосый и синеглазый молодой человек, светски воспитанный, производивший впечатление одновременно мужественное и девическое, всадник-спортсмен и поклонник Стефана Георге. Стихи Георге, непогрешимого мастера, аристократа и ницшеанца с даром предвидения, сопровождали Штауфенберга всю его недолгую жизнь.

Граф Штауфенберг мог презирать с высоты своего офицерского достоинства вульгарную демагогию, плебейские манеры и отвратный немецкий язык фашистского вождя, мог брезгливо отстраняться от людей этого сорта, но активного протеста переворот 1933 года у Штауфенберга не вызвал, — как и то, что за ним последовало. Считалось даже до недавних пор, что он был в молодости горячим сторонником Гитлера, — эту версию опровергают исследования. Верно, однако, что он разделял взгляды и настроения своей касты. У Веймарской республики было гораздо меньше сторонников, чем врагов. Офицерство чуть ли не

по определению было её недругом. Ненависть к демократии и демократам, воинственный национализм, дух агрессивной молодости и дисциплинарный пафос, призывы к национальному сплочению, решимость свести счёты с внешними и внутренними врагами за все потери, за унижение немецкого отечества, потерпевшего поражение в 1918 году, как хотелось верить, не на поле битвы, а в результате предательства, покончить с Версальским договором, в самом деле кабальным, — весь этот набор нацистских лозунгов, вся эта фразеология не могли не вызвать, в той или иной мере, сочувствия в офицерской среде. То, что в первые же недели национал-социалистической революции были ликвидированы политические партии, отменены гражданские права, учреждена свирепая цензура, политические противники заключены в срочно созданные концлагеря, не слишком волновало этих людей; об антисемитизме и говорить нечего, — в большей или меньшей степени его разделяли многие, а хаотическую книгу Гитлера «Моя борьба», где ещё в 1924 году была выдвинута программа уничтожения евреев, вообще никто не читал. Когда же с помпой провозглашённая Третья империя (первая — средневековая Священная Римская империя, вторая — империя Гогенцоллернов) аннулировала в одностороннем порядке 160 статью Версальского договора и принялась накачивать военные мышцы, когда была введена всеобщая воинская повинность — к 1939 году вермахт должен был насчитывать 36 дивизий, свыше полумиллиона солдат, соответственно возрасти должен был и командный состав, для десятков тысяч откроются возможности

карьеру, а там и вдохновляющее видение новой кампании, на сей раз победоносной, — сердца вояк были отданы новому режиму. Мы видели, что волчий облик режима и действительность войны радикально отрезвили многих — одних раньше, других позже.

Рубикон

Штауфенберг участвовал в «польском походе» и в разгроме Франции. Он был откомандирован на восточный фронт, где состоялось знакомство с подполковником Треско; зимой сорок третьего года, в дни сталинградской катастрофы, в Таганроге безуспешно пытался склонить командующего войсковой группой «Дон» Манштейна (изрядно разочарованного в Гитлере) к участию в антигитлеровском заговоре. На вопрос, что делать с самим диктатором, Штауфенберг ответил: «Убить!»

Приехав домой с фронта в трёхнедельный отпуск, он узнал, что его переводят в Северную Африку, в танковый дивизион на должность первого штабного офицера I-а.

Когда Африканский корпус Роммеля, прославленного «лиса пустыни», был остановлен на границе Ливии и Египта войсками фельдмаршала Монтгомери, начались затяжные бои. Как-то раз Штауфенберг, объезжая позиции, ночью, в крошечной тьме был обстрелян: оказалось, что он попал в расположение противника. Громко, по-английски он отдал приказ прекратить огонь. Решив, что в машине сидит высокий британский

чин, солдаты расступились, Штауфенберг пронёсся мимо и, обернувшись, крикнул: «Можете продолжать».

Армия отступала; за месяц до капитуляции немецко-итальянской группы войск в Тунисе (в плен попало около 200 тысяч человек, больше, чем под Сталинградом), в начале апреля 1943 года, случилось несчастье. Штабную машину 10-го дивизиона атаковал на бреющем полёте американский бомбардировщик в открытом поле близ Меццуны, в пятидесяти километрах от побережья. Этот был тот самый участок, где на другой день, прорвав фронт, соединились английские и американские части.

Из развороченного бомбой автомобиля извлекли полумёртвого Штауфенберга. Он выжил; ему ампутировали правую руку до плеча и два пальца на левой руке, он потерял левый глаз. Штауфенберг выписался через три месяца из госпиталя в Мюнхене и остался на военной службе. Только так он мог осуществить своё непреклонное намерение покончить с Гитлером. Зимой была налажена связь с Герделером и его людьми. Наступил 1944 год. В Крейсау граф Мольтке говорил друзьям: «Какой год нам предстоит! Если мы останемся в живых, все остальные годы поблёкнут перед ним...» Действительно, медлить и выжидать больше было невозможно. В конце концов все обсуждения и приготовления свелись к одному: спасти Германию.

Зарницы

На самом деле то, что «предстоит», было рядом. Утром 19 января 1944 года в берлинскую контору Гельмута фон Мольтке явились гости из гестапо, он был арестован и увезён в подвалы главного комплекса зданий тайной полиции на Принц-Альбрехт-штрассе (нечто сходное с московской Лубянкой). Арест, судя по всему, не имел отношения к собраниям в Крейсау. Узнав стороной, что за одним из его знакомых, который позволил себе крамольные высказывания, ведётся слежка, Мольтке счёл своим долгом предупредить его об опасности. Долг долгу рознь: на Мольтке в свою очередь был сделан донос; ему вменялось в вину «забвение долга». Две-три недели спустя он был переведён в тюрьму при лагере Равенсбрюк в Мекленбурге. Жена посещала Мольтке, он содержался в относительно сносных условиях, однако после 20 июля всё изменилось.

Тучи сгустились и над Карлом Герделером. Просочились сведения о том, что готовится арест. В чём дело, о чём могло разноухать гестапо, оставалось неизвестным. Герделер уехал к родителям в Восточную Пруссию, где скрывался вплоть до 20 июля и ещё некоторое время спустя.

Доложите обстановку

Положение на фронтах к середине июля 1944 года было следующим. На юге генерал Алексан-

дер, командующий силами союзников в Италии, продвигаясь вверх по Апеннинскому полуострову, овладел Вечным городом и приблизился к Пизе и Флоренции. На Западе немногим больше месяца тому назад, после многомесячных бомбардировок транспортных артерий во Франции и Бельгии, английские, американские и канадские части под началом Эйзенхауэра высадились в Нормандии, — открылся давно обещанный второй фронт. Теперь союзники находились на подступах к Нанту и Руану. За три дня до покушения на Гитлера генерал-фельдмаршал Роммель, назначенный командиром армейской группы «Б» в Северной Франции, был тяжело ранен, его место занял Клуге, не обладавший военным гением Роммеля.

Капитальную угрозу, однако, представлял восточный фронт, где Красная Армия, терпя большие потери, наступала на всех важнейших участках; 38 дивизий вермахта были перемолоты в короткое время; лишь на севере немцам удалось остановить дальнейшее продвижение. Линия фронта проходила вдоль бывшей границы с Эстонией, через Латвию, готовилось вторжение в Восточную Пруссию (20 июля бои шли приблизительно в 200 километрах от ставки). Началось наступление на Варшаву, Люблин, Львов; на юге войска 2-го и 3-го Украинских фронтов заняли часть Молдавии и перешли румынскую границу.

Еженощно союзная, главным образом английская, бомбардировочная авиация громила немецкие города, еженощно под развалинами гибли тысячи жителей; тяжёлые разрушения понесли Гамбург, Берлин, города Рурского угольного, железнорудного и промышленного бассейна. Нача-

лись систематические налёты на румынские нефтяные прииски, главный источник горючего для промышленности, авиации и танков.

Волчья нора (1)

Задача — убить сразу трёх: Гитлера, Гиммлера и Геринга; после этого одновременно во многих местах должен был вспыхнуть мятеж. Возможность представилась 6 июля, когда полковнику генерального штаба графу Штауфенбергу надлежало принять участие в двух обсуждениях обстановки на фронтах в альпийской крепости Гитлера Берггоф в Берхтесгадене. Штауфенберг прилетел с бомбой в портфеле, но Гиммлер и Геринг не явились. Через пять дней подоспел новый случай, Штауфенберг был снова вызван в Берггоф. Адьютант приготовил машину и самолёт с тем, чтобы тотчас после включения детонатора Штауфенберг мог вернуться в Берлин, центр восстания. Начальник общевойскового управления верховного командования генерал от инфантерии Ольбрихт, генерал-фельдмаршал Вицлебен, Йорк фон Вартебург — знакомые нам лица — ждали сигнала. Но Гиммлер снова отсутствовал, и снова Штауфенберг предпочёл отложить покушение.

Наконец, 15 июля Гитлер прибыл в Растенбург (ныне Кентшин, Польша), уездный городишко с военным аэродромом, некогда цитадель Тевтонского ордена; вокруг — густые хвойные и лиственные леса, камышовые озёра, обычный ландшафт Восточной Пруссии. В шести километрах от аэро-

дрома находилась главная штаб-квартира верховного главнокомандующего, так называемая Волчья нора, обширная, отгороженная со всех сторон площадка. Собственно «норой» был подземный бункер фюрера под бетонным покрытием толщиной в семь метров; бункер гарантировал полную безопасность в случае воздушного налёта. Несколько поодаль стояли дом для адъютантов и барак, где происходили совещания. Внутри барака коридор, комнатка дежурного, рабочее помещение и просторная (60 кв. метров) комната в пять окон с массивным, шестиметровой длины прямоугольным столом на двух тумбах. В углу справа от входа — круглый столик стенографиста. Барак был деревянный, крыша бетонирована, стены проложены стекловатой.

Итак, снова назначено совещание, Штауфенберг, отвечавший за состояние резервной армии (которую предполагалось ввести в действие в случае вторжения русских на территорию рейха), прилетел для доклада в Растенбург из столицы, где он жил в квартире своего брата Бертольда и работал в генштабе сухопутных сил на Бендлер-штрассе. Вместе с одноруким полковником прибыл генерал Фридрих Фромм, посвящённый в заговор. Несколько заградительных оцеплений и постов охраняли дорогу к ставке. На самой территории, перед входом в барак — но не внутри — стояли телохранители вождя. Штауфенберг оставил портфель с бомбой в большой комнате. На этот раз он решил выполнить свой план, даже если бы оказалось, что Гиммлер и Геринг не участвуют в совещании. Сообщили, что шеф тайной полиции наверняка будет здесь, но до половины третьего,

когда всё закончилось, он так и не приехал; не было и Геринга.

Вильгельм Кейтель, генерал-фельдмаршал, начальник штаба верховного командования (повешенный по приговору Международного военного трибунала в Нюрнберге в 1946 году), пожелал предварительно ознакомиться с докладом, — речь шла о подготовке 15 «народно-гренадёрских» дивизий, укомплектованных юнцами из нацистской «Гитлер-югенд» (аналог комсомола). Затем все трое — Кейтель, Фромм и Штауфенберг — вышли из барака. Вскоре из бункера появился Гитлер. Сохранилась фотография: фюрер пожимает руку кому-то из генералов, рядом, вытянувшись в струнку, стоит граф.

Покушение и на этот раз не состоялось. Уже в ходе совещания выяснилось, что Штауфенберг должен докладывать последним; успеть включить зажигательное устройство и покинуть барак не было никакой возможности. Он вернулся в Берлин. Через несколько дней пришёл новый приказ из ставки: явиться для доклада 20 июля.

Новый Сулла

Капитан вермахта Эрнст Юнгер, прозаик, эссеист, диарист, самый, может быть, значительный немецкий писатель из тех, кто не эмигрировал после 1933 года, с начала Второй мировой войны находился на западном фронте. Он участвовал в походе на Францию и провёл, если не считать коротких отпусков и командировки на Украину и

Северный Кавказ, два года в оккупированном Париже при штабе командующего оккупационными силами во Франции генерала Карла Генриха фон Штюльпнагеля. Юнгер дружил с Штюльпнагелем, знал о том, что тот примкнул к заговору с целью совершить государственный переворот, знал других участников сопротивления, но сам к нему не присоединился. В дневниках, составивших книгу «Излучения», имеется запись (от 29 апреля 1944 года), из которой видно, что Юнгер скептически относился к этой аванюре. Движущей силой заговора, по его мнению, является «моральная субстанция», религиозные и нравственные убеждения участников, тогда как успех может быть достигнут только при условии, что во главе движения станет «какой-нибудь Сулла», «простой народный генерал».

Таким Суллой, замечает новейший биограф Юнгера П. Ноак, мог бы стать Роммель. Но в апреле 1944 года Роммель занят подготовкой к отражению угрозы вторжения, а вскоре после этого, как мы знаем, выходит из игры.

Прав ли был Юнгер? Какой смысл имел заговор, стоивший жизни всем или почти всем его участникам? Это были люди, прекрасно осведомлённые о ситуации; на что они рассчитывали? Приходится снова задать себе этот вопрос.

Некоторые из них, например, Герделер, всё ещё думали, что можно будет заключить сепаратный мир с англичанами и американцами и остановить русских; большинство сознавало иллюзорность этих надежд. Ещё в январе 1943 года конференция западных союзников в Касабланке завершилась тем, что Рузвельт выдвинул, с общего согласия, требование безоговорочной капитуля-

ции. Заговорщики пытались сложными путями установить с союзниками связь (мы на этих попытках не останавливались). Ничего не вышло: их никто не хотел слушать.

Задав вопрос о смысле «авантюры» (была ли она всего лишь авантюрой?), приходится согласиться, что побуждения участников заговора носили в первую очередь моральный характер. Убить Гитлера значило уничтожить, как сказал на суде один из заговорщиков, «полномочного представителя Зла в истории». Прекратить войну значило предотвратить дальнейшие бессмысленные жертвы. Покончить с нацизмом означало спасти честь страны. В том, что эти люди были в гораздо меньшей степени политиками, чем защитниками нравственного закона, который восхищал Канта, состояла их слабость. В том, что, вопреки всему, они предпочли действовать, состояло их величие.

Молчание

Спросим себя (несколько раздвинув тему), что делать честному человеку перед лицом преступного режима. Коммунистические идеалы были во многом противоположны идеалам немецкого национал-социализма, противостояние двух режимов заслоняло от многих сходство этих режимов, впрочем, бросавшееся в глаза; осознание подлинного характера советской власти, понимание того, что тоталитарная партия и созданная ею в первые же недели после захвата власти тайная политическая полиция по самой своей природе являются

преступными организациями, сравнительно поздно пришло даже к тем, кто честно стремился разобраться в происходящем. Тем не менее по крайней мере в тридцатых годах, не говоря уже о более позднем времени, советский режим показал себя во всей красе; слепому было ясно, в каком государстве он живёт. Что можно было сделать, можно ли было вообще что-то делать? Эмигрировать было поздно. Любые формы открытого протеста были исключены, самая мысль о свержении существующего строя казалась абсурдной. Убить вождя-каннибала мог лишь тот, кто имел доступ к нему. Как и в Германии, эту задачу могли бы взять на себя только военные. Но ничего подобного Двадцатому июлю не было в СССР; до сих пор мы не слышали о каких-либо признаках активного сопротивления, о каких-либо мятежных замыслах в ближайшем окружении Сталина или в военной среде. Многочисленные «враги народа» были изобретением тайной полиции. Архивы, которые могли бы кое-что прояснить, остаются под спудом либо уничтожены; в отличие от Германии, где национал-социализм был разбит стальной кувалдой войны, а последующие годы стали временем радикального расчёта с прошлым, в России аналогичного сведения счётов не произошло, и до сих пор, по-видимому, значительная часть народа не отдаёт себе отчёта в том, какого рода прошлое осталось за его спиной.

Протест, сказали мы, был невозможен. И всё же кто-то протестовал. Автору этой статьи известны группы молодёжи, студенческие кружки, робкие попытки объединиться, чтобы совместно уяснить себе ситуацию, а там, быть может, и перей-

ти к более активным действиям. Эти мальчики и девочки исчезли бесследно, система тотальной слежки и всенародного доносительства не пощадила ни одного. Но они были, и, может быть, их одинокое возмущение в какой-то мере испустило молчание взрослых.

Волчья нора (2)

Гитлер имел обыкновение ложиться перед рассветом. До десяти часов утра никто не имел права будить фюрера. На лифте в спальню подавался завтрак. Это было как раз то время дня 20 июля 1944 года, когда военный самолёт, в котором сидели полковник Штауфенберг и адъютант Вернер фон Гефтен, приземлился на аэродроме Растенбург. Там ждал «мерседес» с шофёром.

На пути в ставку нужно было миновать три контрольных поста. Штауфенберг имел при себе портфель с бумагами. Адъютант держал на коленях другой портфель, где находилась упакованная в бумагу тетриловая бомба английского образца размером с толстую книгу, с детонатором, рассчитанным на взрыв через тридцать минут после включения.

Дежурный первого поста проверил документы. При въезде во вторую оцеплённую зону Штауфенберга встретил командующий военным округом генерал Тадден, решили вместе позавтракать. Мимо последнего контрольного поста въехали во внутреннюю зону. Вылезая из машины, Штауфенберг велел шофёру ждать: в 13 часов он должен

возвратиться на аэродром.

Три четверти часа ушло на предварительную беседу с Кейтелем. Из бункера позвонил камердинер фюрера Линге: в связи с визитом в Берлин итальянского дуче Муссолини совещание переносится на полчаса раньше. Тем лучше. Штауфенберг попросил адъютанта Кейтеля майора Фрейэнда показать ему туалетную комнату: нужно привести себя в порядок после дороги. «Поторопитесь, Штауфенберг!» — крикнул майор. Штауфенберг вошёл в соседнюю комнатку, где его поджидал адъютант Гефтен. Привезённое с собой находилось в двух пакетах, каждый весом в килограмм. Один пакет успели переложить из сумки Гефтена в портфель Штауфенберга, когда неожиданно вошёл дежурный фельдфебель, чтобы сказать полковнику, что ему звонил из бункера Фельдигбель (генерал разведывательной службы Эрих Фельдигбель был тоже посвящён в заговор). Фельдфебель заметил, что полковник и его адъютант возятся с каким-то предметом. Второй килограммовый пакет остался в портфеле Гефтена. На часах была половина первого. Гитлер вошёл в барак.

Совещание

196

«Иду, иду...» — сказал Клаус Штауфенберг, тремя пальцами искалеченной левой руки с помощью специально изготовленных щипцов вскрыл ампулу с кислотой, вставил ампулу в предохранительный штифт и соединил с капсюлем-детонатором. С портфелем под мышкой он вошёл в комна-

ту, где уже началось совещание. Его сопровождал ни о чём не подозревавший майор Йон фон Фрейэнд. «Будьте добры, — проговорил Штауфенберг, — позаботьтесь, чтобы для доклада мне уступили место поближе к фюреру...»

На большом столе была разложена карта. Очевидец оставил подробное описание, где кто стоял. Гитлер в центре, напротив входа, за длинной стороной стола. Слева от него Кейтель, справа основной докладчик, генерал-лейтенант Адольф Хейзингер. Остальные вокруг стола и позади стоящих за столом; всего присутствовало 24 или 25 человек.

Доложили о приходе полковника графа Шенка фон Штауфенберга. Гитлер взглянул на полковника, кивнул в знак того, что знает его, и повернулся к столу. Он был близорук и должен был разглядывать карту через толстую лупу; все бумаги для фюрера печатались на машинке с крупным шрифтом. Хейзингер докладывал общую обстановку на фронтах. Фрейэнд помог изувеченному полковнику встать справа от докладчика, принял у Штауфенберга портфель и поставил его под стол. Штауфенберг передвинул портфель так, чтобы он никому не мешал, — и поближе к себе и Гитлеру. Теперь портфель стоял, прислонённый к правой тумбе, к её наружной стороне, так что между бомбой и Гитлером находился только Хейзингер. Сам Штауфенберг — справа и несколько позади от Хейзингера, с левой стороны от Штауфенберга полковник Брандт, который год тому назад участвовал в неудачной попытке Геннинга фон Треско взорвать самолёт диктатора при помощи мнимого коньяка.

Несколько минут спустя Штауфенберг пробормотал что-то вроде того, что ему надо срочно по-

звонить по телефону. Хождение во время доклада не возбранялось, никто не обратил внимания на то, что полковник вышел в соседнюю комнату. Фуражка и портупея Штауфенберга остались в углу на стуле в большой комнате, это значило, что он сейчас вернётся.

У аппаратов сидел вахмистр. Штауфенберг снял трубку, поднёс к уху, положил трубку обратно, вышел и быстро зашагал к адъютантскому дому, перед которым ждал кабриолет с Гефтенем. Штауфенберг сел впереди рядом с шофёром. «Вы забыли фуражку», — сказал шофёр. Штауфенберг отвечал, что он спешит; на часах было 12.40. Машина подъехала к вахте внутреннего оцепления, когда за деревьями взвилось облако дыма и грянул гром.

Обратный путь

Сигнал тревоги ещё не успел поступить на вахту. Очевидно, в суматохе не знали, что делать. У сидящих в машине были безупречные документы. Уверенный вид и величественная осанка штабного полковника с чёрной повязкой на глазу, с пустым правым рукавом, с Рыцарским крестом на шее произвели своё действие, машину пропустили.

У второго контрольного поста дежурный фельдфебель отказался поднять шлагбаум. Штауфенберг повысил голос, это не помогло. Он вышел из машины и связался по телефону с комендатурой. Ротмистр Меллендорф снял трубку. Очевидно, он

тоже ещё не слышал о том, что произошло. Ротмистр знал полковника. Дело уладилось, кабриолет с поднятым верхом понесся дальше по лесной дороге, между озёрами, но шофёр заметил в боковом зеркале, что Гефтен выбросил из окна пакет. Это была вторая, неиспользованная половина заряда.

Миновав на большой скорости уединённое поместье Вильгельмсдорф, миновав третий пост, достигли аэродрома. Шофёр развернулся и поехал обратно. В 13 часов 15 минут трёхмоторный Хейнкель-111 поднялся в воздух и взял курс на Берлин.

Мятеж

В начале второго — самолёт в Растенбурге только что стартовал — в генеральный штаб, пятиэтажное здание на Бендлер-штрассе (ныне улица Штауфенберга, между Тиргартеном и набережной реки Шпрее), где собрались заговорщики, поступило первое известие из Волчьей норы — телефонограмма от Фелльгибеля, краткая и маловразумительная:

«Случилось нечто ужасное, фюрер жив».

199

Это звучало двусмысленно: ужасно, что хотели убить фюрера, или ужасно, что он не убит? Но главное, оставалось неизвестным, что предпринять. Надо ли что-нибудь предпринимать? Неясно было, что с графом Штауфенбергом. Новых сообщений не поступало. Первым опомнился полковник Альбрехт рыцарь Мерц фон Квирнгейм. Не дожидаясь указаний от своего начальника ге-

нерала Ольбрихта, он поднял по тревоге пехотное и танковое училища и отдал приказ по военным округам привести в исполнение 1-ю (подготовительную) ступень плана «Валькирия». Тем временем самолёт со Штауфенбергом и Гефтеном приземлился на берлинском аэродроме Рангсдорф. Адьютант позвонил с аэродрома на Бендлерштрассе и сообщил, что покушение удалось.

Наконец-то! Ольбрихт распорядился приступить ко 2-й ступени: непосредственное осуществление государственного переворота. Начальники округов, а также дислоцированных вокруг столицы учебных и резервных частей получили следующую депешу:

«Фюрер Адольф Гитлер мёртв!

Клика партийных руководителей за спиной у воюющей армии попыталась использовать власть в своих корыстных целях. Правительство империи, с целью поддержания правопорядка, объявило чрезвычайное положение и передало мне вместе с командованием вермахта исполнительную власть.

Приказываю:

Власть в районах страны, где идут бои, вручается главнокомандующему армией резерва генерал-полковнику Фридриху Фромму, в оккупированных областях... (далее перечислялись имена командующих армейскими группами «Запад», «Юго-Запад» и «Юго-Восток», а также командующих войсками на Украине, в Прибалтике, в Дании и Норвегии). Немецкий солдат стоит перед исторической задачей. От его энергии и выдержки зависит спасение Германии.

Подпись: Верховный главнокомандующий вооружёнными силами генерал-фельдмаршал *фон Вицлебен*».

Никакого «правительства» восставших пока ещё не существовало. Одновременно был разослан приказ занять главные здания радио, телефона и телеграфа, арестовать всех министров, гаулейтеров (партийные заместители, нацистский аналог секретарей обкомов), командиров СС, начальников полиции, гестапо, СД (служба безопасности), обезоружить охрану концентрационных лагерей и так далее. Под приказом стояло имя генерала Фромма, сам Фромм о нём не знал.

Он прибыл

Штауфенберга всё ещё не было: машины, заказанной для него и адъютанта, не оказалось на аэродроме. Между тем генералу Ольбрихту удалось связаться по телефону с Волчьей норой. Кейтель подтвердил: да, имело место покушение на фюрера. Но фюрер жив, он отделался лёгкими повреждениями.

В половине четвёртого в здании на Бендлерштрассе, обычно называемом Бендлер-блоком, наконец появился Штауфенберг. Он взбежал по лестнице, распахнул дверь своего кабинета — там его ждали брат Бертольд Шенк фон Штауфенберг, Фриц-Дитлоф фон дер Шуленбург из окружения Мольтке и ещё несколько человек — и с порога, не здороваясь:

«Он умер. Я видел, как его вынесли».

В присутствии Ольбрихта он подтвердил это Фромму. Тот покачал головой: Кейтель заверил его в противоположном.

«Фельдмаршал Кейтель лжёт, как всегда. Я сам видел, как Гитлера вынесли мёртвым», — сказал Штауфенберг.

Ольбрихт объявил Фромму, что приказ о начале мятежа уже отдан. Фромм, побледнев, спросил, кто отдал приказ. Ольбрихт ответил: «Мой начштаба, полковник Мерц фон Квирнгейм». Фромм велел вызвать Квирнгейма: «Вы арестованы».

«Господин генерал-полковник, — возразил Штауфенберг, — я включил взрыватель во время совещания с Гитлером. Взрыв был как от 15-сантиметровой гранаты. В комнате никого не могло остаться в живых!»

«Граф Штауфенберг, покушение провалилось. Вы должны немедленно застрелиться», — сказал Фромм.

«Я этого не сделаю».

Ольбрихт напомнил Фромму, что пора действовать. Промедление грозит гибелью отечеству.

«Значит, и вы, Ольбрихт, участвуете в путче?»

Ольбрихт отвечал, что он лишь представляет тех, кто берёт на себя руководство Германией.

«В таком случае я объявляю вас всех троих арестованными!»

«Ошибаетесь. Это мы вас отправляем под арест».

Фромм замахнулся на Ольбрихта, тут появились Клейст и Гефтен. Под дулами пистолетов генерал был препровождён в соседнее помещение. Его пост должен был занять генерал-полковник Эрих Гепнер, уволенный в своё время из воору-

жённых сил за то, что отдал приказ об отступлении под Москвой.

Людвиг Бек, который должен был стать будущим главой государства, — о Беке говорилось в начале этой статьи, — явившись в Бендлер-блок, сказал, обращаясь к заговорщикам (эти слова сохранил очевидец):

«Господа, мы на развилке истории. Положение на всех фронтах безнадежно. Долг всех мужчин, всех, кто любит эту страну, — из последних сил добиться нашей цели. Не получится, — ну что ж, мы, по крайней мере, не будем мучиться сознанием нашей вины. Для меня этот человек всё равно мёртв. Доказательства, что он не убит, не подменён двойником, могут прийти из ставки только через несколько часов. До этого мы успеем взять в свои руки власть в Берлине».

Фанера, стекловата

Что произошло в Волчьей норе?

Массивный стол был расщеплён и обрушился, стулья поломаны, на месте, где стоял портфель Штауфенберга, в полу зияла широкая дыра. Стёкла всех пяти окон вместе с рамами вышибло взрывной волной. Почти все, кто находился в барраке, оказались сбиты с ног, но никто не был выброшен наружу. Четверо человек были тяжело ранены и скончались на месте или в тот же день. Остальные получили лёгкие ранения, вполне невинным остался только шеф верховного командования Кейтель. Среди хлопьев полубогорелой

бумаги и стекловаты, обломков мебели, осколков стекла сидел Гитлер. Его брюки и кальсоны были порваны в клочья, на левом локте небольшой кровоподтёк, на тыльной стороне ладони несколько ссадин. Лопнули обе барабанные перепонки, но слух не пострадал. Придя в себя, он забормотал: «Так я и знал... Кругом измена»

Спрашивается, почему он уцелел. Объяснением могут служить несколько обстоятельств. Во-первых, удалось использовать только половину приготовленной взрывчатки. Во-вторых, портфель был оставлен с наружной стороны тумбы. В-третьих, и это главное, стены барака были из слишком лёгкого материала, что ослабило взрывную волну; если бы совещание проводилось в бункере (на что надеялся Штауфенберг), не уцелел бы никто.

Только спустя два часа подозрение пало на однорукого полковника. Вахмистр Адам доложил, что видел, как полковник без фуражки и без своего портфеля поспешно покинул барак. Шофёр, доставивший Штауфенберга и адъютанта Гефтена на аэродром, сообщил, что из окна машины выбросили какой-то предмет. Ввиду особой важности его показания шофёр был препровождён к «секретарю фюрера» и начальнику партийной канцелярии Борману. Спецподразделение службы безопасности разыскало пакет. Но далеко не сразу гестапо сообразило, что дело идёт не об одиночном покушении и даже не о попытке путча узкого круга высших офицеров, а о разветвлённом заговоре.

Судороги мятежа

К шести часам вечера в Берлине караульный батальон «Великогермания» оцепил правительственный квартал, полковник Ремер, командир батальона, собирался арестовать Геббельса. Министр пропаганды, занимавший одновременно посты гаулейтера Берлина и рейхскомиссара обороны, находился у себя на квартире на Герман-Геринг-штрассе. Геббельс выглянул в окно, увидел фургон с солдатами и по телефону поднял по тревоге лейб-штандарт СС «Адольф Гитлер». Кроме того, Геббельс связался с Волчьей норой и говорил с фюрером. Но до открытого столкновения с караульным батальоном не дошло. Ремер сумел повернуть дело так, что он хотел-де защитить правительство от мятежников.

Один за другим в Бендлер-блок прибыли представители разных групп сопротивления, среди них Герстенмайер от Крейсауского кружка, Отто Йон и Ганс-Бернд Гизевиус из контрразведки. Бек был в штатском. Вицлебена представлял граф Шверин. Затем явился и сам Эрвин фон Вицлебен, в парадной форме, при орденах, с фельдмаршальским жезлом. Реальными действующими лицами оставались, однако, офицеры средних рангов — прежде всего тот, кто уверял, что Гитлер погиб.

Он не отходил от телефона. Йон слышал, как он звонил в разные концы. «У телефона Штауфенберг... Приказ командующего резервной армией... Вы должны занять все пункты связи... да, всякое сопротивление должно быть сломлено... Приказы

из главной ставки фюрера недействительны. Вермахт взял на себя всю исполнительную власть. Вицлебен назначен верховным главнокомандующим, совершенно верно... Государство в опасности... Немедленно приступить к...»

В Париже генерал Штюльпнагель приступил к действиям весьма успешно. Известие о государственном перевороте пришло в отель «Мажестик», резиденцию командующего оккупационными силами, в 16 часов. По приказу командующего руководители парижских СС и СД, а также чины гестапо в полном составе были арестованы; вооружённые отряды остались сидеть в казармах. Но в 20 часов Штюльпнагель был вызван к фельдмаршалу Клуге, который сообщил, что, по только что полученным сведениям, покушение на фюрера не увенчалось успехом.

На другой день Штюльпнагель получил приказ из Берлина срочно прибыть «для доклада». Он ехал в машине с двумя унтер-офицерами. В долине Мааса, недалеко от Вердена, генерал вышел из автомобиля, велел сопровождавшим ехать вперёд, после чего выстрелил себе в голову. Он был доставлен в ближайший госпиталь, остался в живых, но ослеп.

Полночь

Поздно вечером 20 июля на Бендлер-штрассе генерал-полковник Фромм, выпущенный из-под стражи офицерами из штаба Ольбрихта, арестовал руководителей путча Бека, Ольбрихта, Гепнера,

Мерца фон Квирнгейма и Штауфенберга вместе с адъютантом Гефтенем. Вицлебен успел покинуть здание.

Бек попросил разрешения воспользоваться оружием, как он выразился, «для личной надобности» и, приставив пистолет к виску, выстрелил, пошатнулся, опираясь на Штауфенберга, выстрелил ещё раз, но всё ещё был жив. Клаус Штауфенберг не мог прийти в себя от гнева. Глядя на Фромма, стоявшего в дверях, он коротко заявил, что берёт всю ответственность на себя: остальные лишь выполняли его приказы. Фромм велел адъютанту вызвать расстрельную команду из десяти человек. Арестованных вывели во двор, где стояло несколько штабных машин. Шоферам было приказано включить фары.

Первым упал Ольбрихт. Следующим был Штауфенберг, он успел крикнуть: «Да здравствует святая Германия!» Хефтен бросился к нему, был сражен залпом, предназначенным для Штауфенберга, следующий залп настиг самого Штауфенберга. Бек, смертельно раненный при попытке покончить с собой, был добит. Затем расстреляли Квирнгейма.

Фромм, стоя на сиденье открытой машины, произнёс речь перед солдатами, трижды рявкнул: «Хайль Гитлер!» и поехал к Геббельсу.

207

Эпилог

Так закончилась эта история. На другой день после покушения Гитлер выступил по радио.

«Фюрер полон решимости искоренить всю эту генеральскую клику...» — записал в своём дневнике доктор Геббельс. Не сразу, однако, гестапо сумело докопаться, что заговор представляли не только военные. По иронии судьбы, именно тайная полиция положила начало изучению истории Двадцатого июля; ныне это актуальная глава историографии нашего века, тема университетских курсов, предмет многочисленных исследований.

Кроме тех, кто был расстрелян во дворе, в тот же вечер в Бендлер-блоке были схвачены Гепнер, Йорк фон Вартенбург, Фриц-Дитлоф Шуленбург, Герстенмайер и ещё несколько штатских лиц. Из них пережил конец войны только Эйген Герстенмайер, впоследствии один из основателей партии Христианско-демократический союз. Был казнён заодно с Шуленбургом и его дядя, бывший посол рейха в Москве, арестован и расстрелян брат Клауса Штауфенберга Бертольд.

В разное время многочисленные участники заговора предстали перед так называемым народным судом в Берлине под председательством неизвестного Роланда Фрейслера, которого Гитлер называл «нашим Вышинским». В конце войны этот Фрейслер погиб в подвале суда во время бомбёжки.

В Плецензее, на территории нацистского исправительного дома, где сейчас находится Мемориал героев сопротивления, были повешены 8 августа 1944 года первые восемь осуждённых, в их числе Вицлебен, Йорк, Гепнер. Казнь снималась на киноплёнку для Гитлера. Все вели себя мужественно. В последующие месяцы были повешены Мольтке, Гефтен, Тротт цу Зольц, Лебер, Дельп,

Гассель, Попиц и другие.

Слепого и изуродованного Штюльпнагеля палач вёл под руку к виселице.

Треско застрелился в Белостоке на следующий день после покушения.

Герделера разыскали и казнили весной следующего года.

Канарис и Остер были расстреляны в концлагере Флоссенбург в Баварии. Там же и в один день с ними, незадолго до прихода американцев, был убит близкий к кругу Мольтке известный протестантский теолог Дитрих Бонгеффер.

Шлабрендорф был подвергнут пыткам, но остался жив.

Фельдмаршал Роммель, знавший о заговоре, был вылечен, после чего ему предъявили ультиматум: судебный процесс или самоубийство. Он предпочёл принять яд.

Фромм, расстрелявший Штауфенберга и других, был в свою очередь расстрелян в марте 1945 года.

Всего из 600—700 арестованных было казнено не менее 180 человек. Последняя расправа произошла над тремя участниками заговора в берлинской тюрьме на Лертер-штрассе в ночь на 24 апреля 1945 года, за две недели до конца войны.

Ветер изгнания

*Leb die Leben, leb sie alle,
halt die Träume auseinander,
sieh, ich steige, sieh, ich falle,
bin ein anderer, bin kein anderer.*

P. Celan. Aus dem Nachlaß⁹

I

С тех пор, как существует цивилизация, существует эмиграция, с тех пор, как существуют рубежи, существует зарубежная литература. Основоположником русского литературного рассеяния можно считать князя Андрея Курбского, но генеалогия изгнанной литературы много старше. По истине у литературного эмигранта есть право гордиться древностью своей участи. Череда предков за его спиной уходит в невообразимую даль. На берегу Понта его тень греется у огня рядом с Назоном. Вместе с Данте в чужой Равенне не он ли испытывал злобную радость, заталкивая папу Бонифация в ад? Столетия мало что изменили в его судьбе. Что такое отечество? Место, где ты не будешь похоронен. Герцен покоится на кладбище в Ницце за три тысячи вёрст от Москвы. На Северном острове Новой Зеландии, на окраине Оклен-

⁹ Живи все жизни, не смешивай сны. Смотри, я поднимаюсь, смотри, я падаю. Я — другой, я тот же. Пауль Целан. Из посмертного (нем.).

да лежит немецкий поэт Карл Вольфскель под камнем с надписью «Exsul poeta», «поэт-изгнанник». На могиле Иосифа Бродского на островке-погосте Сан-Микеле в Венецианской лагуне написано только имя.

Ура, мы свободны!

«Но вечно жалок мне изгнанник, Как заключённый, как больной. Темна твоя дорога, странник. Пылью пахнет хлеб чужой». Это реминисценция Данте, это у него сказано о горьком хлебе чужбины (*le pane altrui*). Предполагается, что дома хлеб сладок. Как бы не так. Ахматова не могла признаться себе, что она эмигрант в собственном отечестве.

II

Слово *exsilium*, изгнание, вошедшее в новые языки, встречается у авторов I века и спустя два тысячелетия означает всё то же. Изгнать значит прогнать насовсем, чтобы духу твоего не было. Изгнанный умирает для тех, кто остался и самим этим фактом как бы приложил руку к его изгнанию. Так было со всеми; и с нами, разумеется. Между тем мы не умерли. Прошли годы, кое-что изменилось, и о нас вспомнили на бывшей родине, чтобы торжественно объявить нам, что мы, беглецы и беженцы, принадлежим прошлому: граница стала проницаемой, эмиграция утратила свой резон, дорога «домой» открыта.

Но изгнание — это пожизненное клеймо, бывают такие неустрашимые стигматы. Изгнание, если угодно, — экзистенциальная категория.

Можно объявить его недействительным, но сделать нереальным невозможно.

Византийская пословица гласит: «Когда волк состарился, он издаёт законы». Разве мы не византийцы? Мы слишком хорошо знаем эту страну. В новом обличье она кажется нам прежний оскал.

Мы жили в век полицейской цивилизации. Её памятники обступают каждого, кто приезжает в Москву. Только ли памятники? Но даже если бы их больше не было в помине. Даже если бы гигантская опухоль в центре столицы была вырезана, если бы вместе с комплексом зданий тайной полиции была снесена вся многоэтажная хранилища коррупции, дикости, привычного измывательства и произвола, — возвращение оказалось бы для изгнанника новой эмиграцией. С него хватит одной.

III

Разумеется, это человек прошлого. Все часы остановились в тот день, когда он уехал. Родина, как лицо умершей женщины на фотографии, стоит перед его глазами, какой он видел её в последний раз. Он не в состоянии поверить, что на самом деле она жива и снова замужем, и рождает детей, и даже чего-то достигла в жизни.

212

Всё его существо — сознаёт он это или нет — противится предположению, что «у них там» может выйти что-то путное. Не оттого, что он кипит ненавистью к оставленной родине, отнюдь нет; но потому, что он так устроен. Это не должно удивлять. Это можно было легко заметить у эмигрантов первого послереволюционного призыва:

будущее, на которое они так упорно возлагали свои надежды, было не что иное, как прошлое. Они грезили о стране, которой на самом деле давно не было; а та страна, которая продолжалась, казалась им безнадежной. Солдат, раненный в деле, считает его проигранным, сказано у Толстого. Эмиграция пожимает плечами, когда слышит об успехах отечества, не потому, что она желает ему зла, а потому, что она так устроена, потому что обременена памятью и живёт этой памятью.

С изгнанием ничего не поделаешь, изгнание — это отъезд навсегда. Билет в одну сторону, побег с концами. Вынырнуть ночью за бортом, вылезти из подкопа по ту сторону тына, вышек с прожекторами, штрафных полос и проволочных заграждений; уйти в небытие, в потусторонний мир, или, лучше сказать, уйти из потустороннего мира в широкий мир, из рабской зарешёченной страны — на волю.

IV

За эту удачу нужно было платить. В сущности, за неё надо было расплатиться всей прожитой жизнью. Государство, наградившее беженца пинком в зад, вместо того, чтобы расправиться с ним, как оно привыкло расправляться с каждым, в ком подозревало хотя бы тень несогласия, — не довольствовалось тем, что ограбило его до нитки, отняло все его права, его достоинство и достояние. Нужно было истребить его прошлое, зачеркнуть всё, что он сделал, выскоблить всякую память о нём. Отныне его имя никогда не будет произ-

носиться. Всё, что он написал, подлежит изъятию. Его не только нет, — его никогда не было.

Зато никуда не денется, никогда не пропадёт его пухлое дело с грифом: «Хранить вечно». Зубастая пасть хранит память об ускользнувшей добыче. Авось когда-нибудь ещё удастся его сцапать.

Между тем изгнанник увозит, вместо имущества и «корней», нечто бесценное и неискоренимое. В камере для обысков в аэропорту Шереметьево-2, в последние минуты, его раздевают, как водится, догола, но самого главного не находят. Волчьи челюсти щёлкают, ловя пустоту. Невидимая валюта, то неуловимое, что он захватил с собой, — это язык.

Язык — неотчуждаемое богатство, крылья, которые вырастают у сброшенного со скалы, язык, не напрасно названный жилищем бытия. Язык возрождается в каждом из нас и переживёт всех нас, и через голову современников и правителей свяжет нас с традицией. Никто не относится к языку так ревниво, никто так не страдает от надругательства над языком, как эмигрант. Гейне назвал Библию портативным отечеством вечно скитающегося народа. Единственное и неистребимое отечество, которое изгнанник унёс с собой, — язык.

Но ведь там, где он бросил якорь, всё называется по-другому, и даже если ему не чужд язык приютившей его страны, он тотчас заметит, что и думают здесь по-другому. Его язык — так, по крайней мере, ему кажется — непереволим. Бла-

гословение писателя-эмигранта, родная речь, — это вместе с тем и его тюрьма. Не сразу доходит до него, что он притащил с собой свою клетку. Любой язык представляет собой замкнутый контур мышления, но русский изгнанник затворён вдвойне, он прибыл из закрытой страны, из гигантской провинции; самая ткань его языка пропахла затхлостью и неволей.

Власть воспоминаний, привычки и повадки, привезённые с собой, мешают ему спокойно и с достоинством вступить в новый мир; то, что называется культурным шоком, есть психологический или скорее психопатологический комплекс растерянности, неуверенности, ущемлённого самолюбия и страха признаться самому себе, что ты не понимаешь, куда ты попал. Счастье обретения свободы, то необыкновенное, неслыханное счастье, от которого рвётся грудь и о котором не имеют представления те, кто остался, — обернулось разочарованием. Душевная несовместимость становится причиной смешных и печальных faux pas, спотыканий, осечек.

Отчасти о них могут дать представление первые пробы пера на чужбине и даже обыкновенные письма родным. Отчёт новосёла о жизни в другой стране — документация недоразумений. Вопреки распространённому мнению, первые впечатления ошибочны. Девять десятых того, что написано и поспешно опубликовано русскими беженцами вскоре после прибытия в Европу или Америку, подтверждают это. «Свежий глаз» наблюдает поверхность, ничего не зная о том, что под ней, он не может отрешиться от стереотипов, от иллюзий и предубеждений, он не столько на-

блюдает, сколько ищет в увиденном подтверждение чему-то затверженному, когда-то услышанному, где-то вычитанному. Свежий глаз на самом деле совсем не свежий и невольно искажает пропорции, преувеличивает значение второстепенного и побочного и не замечает главного.

VI

Знание языка не ограничивается умением понять, о чём говорят; скорее это умение понять то, о чём умалчивают. Настоящее знание языка — это знание субтекста жизни. Неумение понять окружающих, а ещё больше непонимание того, о чём они не говорят, что разумеется само собой, превращает новичка в инвалида. Сочувствуя ему, с ним невольно обходятся как с несмыслёнышем. Простой народ принимает его за слабоумного.

Но и самые скромные познания в языке — роскошь для подавляющего большинства русских эмигрантов, не исключая интеллигентов. О писателях нечего и говорить. Это одно из следствий жизни в закрытой стране. Горе безъязыкому! Он как глухонемой среди шумной толпы, как зритель кино, где выключился звук. Что происходит? Действующие лица смеются, бранятся, жестикулируют. Он глядит на них, как потерпевший кораблекрушение — на островитян. Как письмо из клочков бумаги, он тщится сложить смысл из разрозненных, с трудом пойманных на лету слов. Когда же мало-помалу он овладевает туземным наречием, многое, о, сколь многое остаётся для него зашифрованным, невнятным, неизвестным; научив-

шись кое-как читать текст жизни, он не знает контекста.

Но он — писатель и помнит о том, что искусство гораздо больше интересуется вытесненным, нежели разрешённым, скрытым, чем явным, подразумеваемым, чем произносимым. Он писатель и может писать только о том, что знает досконально. Это знание ему не приходится добывать. У него открытый счёт в банке памяти, и он может брать с него, сколько захочет. Вот почему литература изгнанников обращена к прошлому, к тому, что оставили, как конники князя Игоря, за холмом.

VII

Эмигрант переполнен своим прошлым. Он должен его переварить. Условия самые подходящие: переваривание начинается, когда процесс еды в собственном смысле закончен — когда перестают жить прежней жизнью. Забугорная словесность чаще всего не ищет новых тем. И когда она «возвращается», то кажется многим на родине устарелой. При этом не замечают, что она создала и освоила нечто, может быть, более важное — новое зрение.

Люди, ослеплённые предрассудками или оболваненные пропагандой, думают, что изгнание обрекает пишущего на немоту. Власть, приговорившая литератора к остракизму, преуспела вдвойне, заткнув ему глотку на родине и выдворив его на чужбину. Теперь он окончательно задохнётся. Кому он там нужен? Вырванный из родной почвы, он повиснет в воздухе. Так ей кажется. И она

радостно потирает руки. Свои грязные волосатые руки, где под ногтями засохла кровь.

Между тем ботанические метафоры более или менее ложны. Они были ложны и сто лет назад. Потому что литература — сама себе почва. Литература живёт не столько соками жизни, сколько воспоминаниями: память — её питательный гумус. Искусство бездомно и ночует в подвалах — в подземелье памяти.

Если труд и талант составляют две половины творчества, то память — его третья половина. Когда независимость влечёт за собой кару, когда писательство, не желающее служить кому бы то ни было, объявляется государственным преступлением, когда родина, а не чужбина приговаривает писателя к молчанию и ставит его перед выбором: изменить себе или «изменить родине», — тогда эмиграция предстаёт перед ним как единственная возможность отстоять своё достоинство. Тогда изгнание — единственный способ сохранить верность литературе. Эмигранту — и это тоже часть традиции — присуще непомерное самомнение. Он утверждает, что он «не в изгнании, а в послании». С неслыханной заносчивостью он повторяет слова, приписываемые другому изгнаннику — Томасу Манну: «Wo ich bin, ist der deutsche Geist»¹⁰.

Где я, думает он, там торжествует свободное слово, там русский язык и русская культура.

¹⁰ Где я, там немецкий дух (нем.).

VIII

Он уверен, что настоящая литература не страдает от дистанции, наоборот, нуждается в дистанции — и во времени, и в пространстве. Литература жива не тем, что видит у себя за окошком, — в противном случае она вянет, как только спускается вечер, и на другой день о ней уже никто не вспомнит, — но жива тем, что стоит перед мысленным взором писателя, на экране его мозга: это просто «осознанное» (воплощённое в слове) сознание. Литература питается не настоящим, а пережитым, она не что иное, как *praesens praeteriti*, сегодняшняя жизнь того, что уже миновало. Литература — дело медленное: дерево посреди кустарников публицистики. Литература, говорит он себе, является поздно и как бы издалека.

Мы не совершим открытие, указав на главный парадокс ускользнувшей, очнувшейся на другом берегу словесности.

Это — творчество подчас в самых неблагоприятных условиях, так что диву даёшься, как оно может вообще продолжаться. Самое существование эмигрантской литературы есть нонсенс. Нужно быть сумасшедшим, чтобы годами предаваться этому занятию, нужно обладать египетским терпением и фанатической верой в своё дело, чтобы всё ещё корпеть над своими бумагами, всё ещё писать — в безвестности и заброшенности, без читателей, без сочувственного круга, посреди всеобщей глухоты, в разрежённом пространстве. Никто вокруг не знает языка, на котором пишет изгнанник (*unus in hoc nemo est populo*, жалуется Овидий, — ни одного человека среди этого на-

рода, кто сказал бы словечко по-латыни!). Если его страна и возбуждает у окружающих некоторый интерес, то это интерес чаще всего политический, а не тот, который может удовлетворить художественная словесность; обыкновенно от такого автора ждут лишь подтверждений того, о чём уже сообщили газета и телевизор. Безнадёжная ситуация. И вместе с тем... вместе с тем это писательство, которому жизнь в другой стране предоставляет новый и неожиданный шанс.

IX

Выбрав удел политического беженца и отщепенца, писатель лишился всего. Чёрт возьми, тем лучше! Он одинок и свободен, как никто никогда не был свободен там, на его родине. Пускай он не решается описывать мир, в котором он оказался, который ему предстоит осваивать, может быть, всю оставшуюся жизнь. Зато он живёт в мире, который прибавляет к его внутреннему миру целое новое измерение, независимо от того, удалось ли в него вжиться. Нет, я не думаю, что век национальных литератур миновал, подобно веку национальной музыки и национальной живописи. Но литература, увязшая в «национальном», обречена, это литература провинциальных углов и деревенских околиц. Жизнь на чужбине обрекает писателя на отшельничество, — что из того? Зато он видит мир. Ветер Атлантики треплет его волосы. Зато эта жизнь, огромная, необычайно сложная, несущаяся вперёд, оплодотворяет его воображение новым знанием, наделяет новым зрением, но-

вым и неслыханным опытом. Об этом опыте не догадываются те, кто «остался». Недаром встречи с приезжими соотечественниками так часто оставляют у него чувство общения с людьми, которым как будто не хватает одного глаза.

Расстояние имеет свои преимущества, о них хорошо знали классики. Гоголь в Риме, Тургенев в Париже, Достоевский, создавший в Дрездене едва ли не лучший из своих романов, — нужны ли ещё примеры? Взгляду из прекрасного далёка открывается доселе неведомый горизонт.

Х

Оставив злое отечество, писатель-эмигрант хранит ему верность в своих сочинениях, но не ностальгия, а память движет его пером. Да, он по-своему верен отечеству, только это такое отечество, которого уже нет. (Может быть, никогда и не было.) В этом, собственно, простое объяснение, почему эмигранты обыкновенно воспринимаются как «бывшие». Надтреснутые чашки, как выразился о немецких эмигрантах Эрих Носсак. Изгнанники производят впечатление инвалидов истории. Так оно и есть. Только подчас эти инвалиды шагают вперёд бодрее других. Во всяком случае, упреки в том, что они «оторвались», совершенно справедливы.

Действие «Улисса» приурочено к июньскому дню 1904 года, книга пишется во время Первой мировой войны. Величайший исторический катаклизм сотрясает Европу — чудак корпит над сагой о временах, теперь уже чуть ли не допотопных. «Человек без свойств» создаётся в межвоен-

ные годы и годы Второй мировой войны, а в огромном романе не наступила ещё и Первая, и действие происходит в государстве, которого давно нет на карте. «Доктор Фаустус» начат 23 мая 1943 года, бомбы сыплются на Германию, но роман и его герой, разговоры, споры, события — всё это даже не вчерашний, а позавчерашний день. Ничего не осталось от старой России, о которой пишет Бунин, — пишет, как в забвении, ничего не видя вокруг.

Эмигрантская проза, как жена Лота, не в силах отвести взгляд от прошлого. Парадокс, однако, в том, что прошлое может оказаться долговечнее настоящего. У прошлого может быть будущее — настоящее же, как ему и положено, станет прошлым.

XI

Лозунг Джойса: *exile, silence, cunning*. В несколько вольном переводе — изгнание, молчание, мастерство. Превосходная программа, если есть на что жить. Автор «Улисса» сидит в Триесте по уши в долгах. Роберт Музиль сочиняет воззвание о помощи, — нечем платить за квартиру, не на что жить. Жалкая нищета российской «первой волны» — общеизвестный сюжет. Вопрос, который задаёт себе писатель-изгнанник, есть, собственно, вопрос, который рано или поздно встаёт перед каждым пишущим, только в нашем случае он приобретает драстический характер: кто его затащил на эту галеру? Почему, зачем и для кого он пишет? Вопрос, на который нет ответа.

Ergo quod vivo durisque laboribus obsto,
Nec me sollicitae taedia lucis habent,
Gratia, Musa, tibi! nam tu solacia praebes,
Tu curae requies, tu medicina venis.
Tu dux et comes es...¹¹

То, что делает проблематичным любое писательство и вдвойне сомнительным — писательство в изгнании, есть именно то, что делает его необходимым; воистину мы околели бы с тоски, когда бы не «муза». Чем бессмысленней и безнадежней литературное сочинительство, тем больше оно находит оснований в самом себе. И можно спросить — или это всё та же заносчивость отщепенцев? — можно поставить вопрос с ног на голову: не есть ли эмиграция идеальная модель творчества, идеальная ситуация для писателя?

XII

Всевозможные эмигрантские исповеди оставляют впечатление тяжёлого невроза. Но это вовсе не общий удел. На самом деле эмиграция — это, знаете ли, большая удача. Это значит не петь в унисон, не шагать в ногу; не кланяться ни режиму, ни народу, не принадлежать никому. Хорошо быть ничьим. Что такое отечество? Место, где ты не будешь похоронен. Умерший в эмиграции публицист и поэт Илья Рубин писал:

223

¹¹ Итак, за то, что я жив, за то, что справляюсь с тяжкими невзгодами, с докучливой суетой каждого дня, за то, что не сдаюсь, — тебе спасибо, муза! Ты утешаешь меня, ты приходишь как отдохновение от забот, как целительница. Ты вождь и спутник... *Овидий (лат.)*.

Над нами небо — голубым горбом,
За нами память — соляным столбом,
Горит, объятый пламенем, Содом,
Наш нелюбимый, наш родимый дом.

Хорошо быть чужим. Умереть, зная, что «там» по тебе никто не заплачет. Дом сгорел, возвращаться некуда, разве только в тот вечный приют, где есть место для всех нас, — в русскую литературу.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ѧ | Ы | А | Ѧ | Р |
| S | Б | В | Д | Ѧ |
| Э | У | Г | Ц | Ѧ |
| D | К | Ю | L | Ѧ |
| Ѧ | Ф | Ѧ | Z | Ѧ |
| Ш | Ѧ | Ж | У | Ѧ |
| Ѧ | Т | Ѧ | G | Ѧ |
| D | Ѧ | Z | Ѧ | Ѧ |
| Ѧ | Ѧ | Ѧ | Ѧ | Ѧ |
| D | Ѧ | Ѧ | Ѧ | Ѧ |
| Ѧ | Ѧ | Ѧ | Ѧ | Ѧ |
| G | Ѧ | Ѧ | Ѧ | Ѧ |